эпоха победившего социализма. 11 октября 1931 года на полях тома собрания, где помещена «Девушка и Смерть», он записал:

«Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете (любовь побеждает смерть)».

Апофеоз Жизни, могучее, ослепительное презрение к Смерти, к Судьбе, ко всем темным и косным силам старого мира, все, что так ярко выражено в этой короткой поэме, было как бы огненным прологом новой литературы. А для Горького, вступившего на свой творческий путь, это явилось образной программой действий и основой миропонимания. Русский героический рабочий класс, выдвинув в эпоху своего роста и подъема великого писателя, воплотил в нем свою несокрушимую волю к победе, дал ему свою неиссякаемую страсть в борьбе. И не случайно рядом с приведенным выше высказыванием Сталина на полях той же книги Горького стоят и прекрасные своим глубоким чувством слова К. Е. Ворошилова, в прошлом — луганского рабочего, в настоящем — вождя непобедимой Красной Армии и первого маршала Советского Союза:

«Я люблю М. Горького, как моего и моего класса писателя, который духовно определил наше поступательное движение».

Время странствований Горького «выпрямило» его, а жизнь и работа в Тифлисе определили его дальнейший жизненный и писательский путь. Глубокой осенью, в октябре 1892 года, он ехал Каспийским морем на рыбачьей шхуне на север. Шхуна резала зеленую воду острым носом и по борта зарывалась в белую пену. Справа дул порывами мощный ветер из Хивы, а с левого борта в прозрачной синеве осени появлялись и исчезали темные горы Кавказа. Позади оставалась солнечная Грузия. Впечатления от величественной природы этой страны и романтической мягкости ее народа могучей волной подняли его к новым мыслям, завершая итоги странствий. Теперь предстоял путь воплощения пережитого в творческий труд.

1933—37 гг.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

ПРИМЕЧАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1. ПРЕДКИ ГОРЬКОГО

(К стр. 4)

Дед Горького со стороны матери, Василий Васильевич Каширин, по данным автобиографической заметки Горького,[1] родился в 1797 году, по материалам же «Детства» — в 1800-м. Последняя дата подкрепляется позднейшей пометкой: «Дед говорил, что он видел пленных французов в Балахне, когда ему было 12 лет».[2] По данным «Детства», Каширин водил расшиву еще на ярмарку в Макарьев, то есть до 1817 года, — в этом году ярмарка была переведена в Нижний. Красильным ремеслом Каширин занялся в 1830-х годах и особенно преуспел в этом деле с конца 40-х. Действительно, уже в 1855 году, как о том свидетельствует «Памятная книжка Нижегородской губернии», он был старшиной красильного цеха. Умер он в 1889 году, и Горький, вернувшись в Нижний после жизни в Казани и своих первых странствий, развозя баварский квас, имел с ним жуткие встречи, когда он, нищий и безумный, ходил по улицам города, выпрашивая под окнами милостыню. Бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина, умерла за 2 года до смерти деда, так же как и он — нищей.

---

[1] Написана в 1897 году, опубликована С. А. Венгеровым в 1914 году, в его издании «Русская литература XX века», том I, стр. 190—192.

[2] Из неизданных материалов.

Дед Горького со стороны отца — Савватий Пешков — был солдатом времени Николая I, дослужился до офицера, потом разжалован был в солдаты и сослан в Сибирь за жестокое обращение с подчиненными. О бабке Горького со стороны отца никаких сведений не сохранилось. Савватий Пешков был человеком столь крутого характера, что сын его — Максим Пешков — еще в детстве не раз убегал из дому. Однажды отец искал его по лесу с собаками, как зайца, другой раз, найдя его, стал так истязать, что соседи отняли мальчика. Кончилось тем, что Максима Пешкова взял к себе его «крестный отец», пермский столяр, для обучения своему ремеслу, приписав его в цеховые города Перми. Но, видимо, не радостно жилось ему и там. Он убежал и от «крестного», кормился тем, что водил слепых по ярмаркам, а придя в Нижний, стал работать столяром на пароходах купца Колчина. Работа его нравилась: двадцати лет он уже слыл хорошим мастером своего дела — краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком.

Данные автобиографической заметки 1897 года и здесь несколько отличаются от материалов «Детства». По первому источнику, Максим Пешков с десяти лет до семнадцати пять раз уходил от отца. Последний раз ему удалось убежать навсегда, он пешком пришел из Тобольска в Нижний. По второму источнику, Савватий умер, когда сыну его минуло девять лет, и после смерти отца он был взят крестным в Пермь. То обстоятельство, что метрическая запись о рождении Горького называет Максима Савватиевича *пермским* мещанином, говорит за бо́льшую точность «Детства». Любопытно, что и мать Горького, Варвара Васильевна Пешкова, по смерти мужа числилась пермской мещанской вдовой, хотя никогда не жила в Перми, да и сам Алексей Максимович в списках Нижегородской ремесленной управы шел за пермяка. Этого же твердого понятия держались и в семье: бабушка ругала Горького так: «Ах ты, пермяк, солены уши!»

Из бумаги Нижегородской казенной палаты от 27 февраля 1873 года, постановившей по рапорту Ремесленной управы причислить мещанскую вдову Пешкову

и ее сына в нижегородское цеховое общество «для народного счета», видно, что в то время матери Горького было 27 лет и 3 месяца, следовательно, родилась она в 1845 году.[1]

Умерла Варв. Вас. Пешкова в августе 1878 года, на 33-м году жизни.

О том, когда родился и каких лет умер отец Горького, документальных сведений нет.

2. МЕТРИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

(К стр. 5)

О рождении Алексея Максимовича Пешкова в метрических книгах церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего-Новгорода, была занесена такая запись:

«Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским. Восприемниками при крещении были: Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова».

Эта запись, найденная и опубликованная в 1908 году В. Золотницким,[2] точно установила год и день рождения Горького. Сам А. М. колебался при обозначении года своего рождения, называя то 1868, то 1869 и считая более правильным второе. Днем же своего рождения считал 14 марта. Эта же дата значится и в ряде официальных бумаг.

---

[1] Документы Нижегородской ремесленной управы опубликованы А. Белозеровым. «Новый Мир», 1926 г., № 3, стр. 115, 116.

[2] «О Максиме Горьком» (К 40-летию со дня его рождения). «Нижегородский Листок», 1908 г., № 65.

По новому стилю 16 марта приходилось в XIX веке на 28 марта.

Н. И. Бобкова, в замужестве Душина, — нижегородская купчиха. Сын кандидата М. Г. Иванов — отставной капитан волжского пароходства, живший в Нижнем отшельником, на покое. Ни с «крестным», ни с «крестной» у «крестника» в дальнейшем никаких связей не было. К первому, впрочем, он заглядывал в окно с улицы, удивляясь большому количеству книг, а от второй получил раз на Пасху гривенник.

3. АСТРАХАНСКАЯ АРКА

(К стр. 5)

«...Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они...» Так рассказывала Акулина Ивановна Каширина внуку.[1] В очерках «Молодой Горький», печатавшихся в 1927 году, я, учитывая возможную художественную условность повести «Детство», писал: «Рассказ, вероятно, легендарный, характерен как отзвук известности Максима Савватиевича по части его мастерства».

Когда эти строки попались на глаза А. М., он сообщил мне в письме: «Я думаю, что отец мой должен был принимать то или иное участие в построении триумфальной арки, ибо строилась она, конечно, пароходчиками».

Розыски в местных «Ведомостях» и «Листке» дали возможность установить проезд Александра II через Астрахань в 1871 году и факт действительного существования триумфальной арки у пароходной пристани, — документальность «Детства» еще раз и интересным образом была подтверждена.

Но это оказалось существенным и в том смысле, что в свою очередь помогло установить время переезда Пешковых в Астрахань, до этого были основания относить его на два-три года раньше.

[1] М. Горький, Собр. соч., 1933 г., том XVI, стр. 140.

Переезд состоялся, следовательно, не позже этого года. Косвенным указанием на то, что он состоялся не раньше этого года, служит список присяжных заседателей Нижегородского уезда на 1871 год, в котором еще значится цеховой Максим Савватиевич Пешков.[1]

Таким образом, астраханская жизнь Пешковых сузилась до полутора лет. Начало ее устанавливается разысканиями об арке, а сохранившееся прошение вдовы Варвары Васильевны Пешковой в Нижегородскую ремесленную управу от 27 октября 1872 года точно определяет ее конец. Первые воспоминания писателя, закрепленные началом повести «Детство», мы должны отнести, следовательно, к сентябрю-октябрю этого года, когда он был в возрасте четырех с половиной лет.

Кроме того: если принять сообщение в автобиографической заметке 1897 года, что отцу Горького было только двадцать два года, когда он получил назначение в Астрахань, то, исходя из обследованного материала, можно определить год его рождения как 1849-й и сделать вывод, что он был моложе Варвары Васильевны на четыре года, женился восемнадцати лет, а умер — двадцати трех.

4. РАЗОРЕНИЕ КАШИРИНЫХ

(К стр. 9)

Найденные мной «Раскладочные Ведомости налога с недвижимых имуществ по Нижнему-Новгороду» дают возможность, помимо интересного выяснения имущественного положения Кашириных, документировать вообще повесть «Детство» со стороны дат и топографии.

«Раскладочные Ведомости» появляются в «Нижегородских Губернских Ведомостях» с 1868 года. В этом году во 2-й Кремлевской части (в этой части города находилась Ковалихинская улица) по «Ведомостям» зна-

[1] «Нижегородские Губернские Ведомости», 1870 г., стр. 533.

чится дом цехового Василья Васильева Каширина, оцененный по городской оценке в 2140 рублей, и дом в совместном владении цеховых Вас. Вас. Каширина и Якова Вас. Каширина в Рождественской части, оцененный в 460 рублей.

1869 год не вносит изменений в это положение, но уже в 1870 году дом во 2-й Кремлевской части (несомненно, что это дом на Ковалихе, во флигеле которого родился Горький) переходит к надворному советнику Раевскому, — это устанавливается тожеством соседей-домовладельцев.

С этого же года дом в Рождественской части переходит во владение одного Якова Вас. Каширина. Когда впоследствии в «Ведомостях» появляется наименование улиц, по соседям-домовладельцам устанавливается тожество этого дома с известным по «Детству» домом на Успенском съезде, одноэтажным, «с нахлобученной низкою крышей и выпученными окнами». В этом доме жили старики Каширины с семьями двух взрослых сыновей, здесь помещалась их общая красильня и здесь поселяется Горький с матерью по приезде из Астрахани. Дом этот сохранился до сих пор, и А. М. уже в мае 1936 года по просьбе местных работников начертил на память расположение комнат.

В 1871 году Вас. Вас. Каширин покупает дом в 1-й Кремлевской части, оцененный, по «Ведомостям», дешево, в 276 рублей. Возможно, что это был упоминаемый в «Детстве» дом на Новой улице, но, по данным «Ведомостей», районирование в этом году неясное. Уже в 1873 году дом этот переходит к унтер-офицеру Васильеву.

Так же как дом на Успенском съезде, хорошо известен читателю по «Детству» и дом на Канатной улице, с тремя окнами на улицу и с чердачным окном наверху. По «Ведомостям», он оценен в 306 рублей. Вас. Вас. Каширин владел им года полтора, в 1875 и в 1876 годах, вероятно — до осени, как об этом и рассказывается в «Детстве». Еще 15 июля 1876 года «Нижегородский Биржевой Листок» в «Дневнике происшествий» сообщал:

«В ночь на 12 у проживающего на Канатной улице, в своем доме, цехового Василья Каширина, чрез взлом висячего замка у амбара, похищены разные вещи на 14 рублей 10 копеек».

Соседями этого дома, в соответствии с рассказанным в «Детстве», значатся: «дом и флигель цеховых Елизаветы и Варвары Петровых Овсянниковых» (в этом доме жил известный по «Детству» старый полковник) и «деревянный на каменном полуэтаже дом и деревянный флигель коллежского регистратора Петра Николаевича Бетлинга».

Сюда приезжала мать Горького, здесь, в доме Бетлинга, познакомилась с Максимовым, своим вторым мужем, и отсюда же уехала с ним в Москву, снова оставив Горького на попечение деда.

В том же 1876 году, когда продан был дом на Канатной, продается и дом Якова Вас. Каширина на Успенском съезде. С этого времени всякие сведения о владениях семьи Кашириных с таблиц «Ведомостей» исчезают.

В автобиографической заметке 1897 года Горький называет деда владельцем нескольких домов и трех мастерских.

Это, очевидно, относится к периоду наибольшего успеха красильного дела Каширина к тому времени, когда он избирался и переизбирался ремесленным старшиной красильного цеха. В период, освещенный здесь, имеются сведения только еще о мастерской Михаила Васильевича Каширина, находившейся на Большой Покровской улице. Сведения о ней сохранились благодаря известию о краже, обнаруженной в этой мастерской 25 февраля 1870 года. [1]

О том, что Михаил Каширин владел не домом, а только мастерской, можно заключить также из списка участвующих в городских выборах, по которому видно, что Василий и Яков Каширины уплачивают налог с недвижимостей, а Михаил — только с промысла. [2]

---

[1] «Нижегородские Губернские Ведомости», 1870 г., стр. 104.
[2] «Нижегородские Губернские Ведомости», 1870 г. Приложение к № 43.

5. ШКОЛА

(К стр. 10)

До поступления в Слободско-Кунавинское приходское училище, Горький около месяца в январе — феврале 1876 года ходил в Ильинское приходское училище — по месту своего жительства и «приходу» на Канатной улице. Заболев оспой, он выбыл из этой школы.

Приходские училища (нужно отличать их от церковно-приходских школ, состоявших в ведении синода) содержались городом и «почетными блюстителями» из купцов.

Вот их устройство и программа:

«Особенная цель приходских училищ — безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех состояний и обоего пола. В эти училища допускаются дети не моложе 8 лет, а девочки не старее 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы: 1) Закон божий по краткому катехизису и священной истории; 2) чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей; 3) чистописание и 4) четыре первые действия арифметики». [1]

Учительский штат приходской школы состоял обычно из двух лиц: «учителя» и «законоучителя». Фигуры обоих представителей слободско-кунавинской педагогии весьма колоритно изображены Горьким в повести «Детство».

История сохранила их имена. В «Адрес-календаре Нижегородской губернии на 1873 год», в штате Слободско-Кунавинского училища значатся: законоучитель Александр Виноградов и учитель Иван Молниев. [2] Это подтверждается и другими данными. Н. Сигалев, товарищ Горького по кунавинским похождениям, также вспоминает, в письме к нему, учителя Ивана Андреевича Молниева, по прозвищу «бритая губа». [3] Подписи

[1] «Памятная книжка Нижегородской губернии на 1865 год». Часть II. Справочные сведения. Стр. 13.

[2] «Адрес-календарь Нижегородской губернии на 1873 год», стр. 128—129.

[3] Из неизданных материалов.

Виноградова и Молниева имеются и на похвальном листе, выданном Горькому Слободско-Кунавинским училищем 18 июня 1878 года.

Об обстоятельствах, при которых получено было Горьким это отличие, он так вспоминает в «Детстве»:

«В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно мне было ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, Басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх, вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства». [1]

Этот документ недавно найден и хранится в музее М. Горького в Москве. Вот его текст:

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Н. С. Кунавинское начальное училище, одобряя отличные пред прочими успехи в науках и благонравие ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом, в пример другим.

Июня 18-го дня 1878 года

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVI, стр. 168—169.

Рукою награжденного комически переиначены даты, к фамилии «Пешкова» прибавлено прозвище «башлыка», к «успехам в науках» прибавлено «и шалостях», а название училища — Нижегородско-Слободское Кунавинское расшифровано так: «Наше свинское Кунавинское».

В повести «Детство» школа обрисована еще чудесной сценой приезда епископа Хрисанфа, который защитил Горького от преследовавших его «педагогов» и дал ему возможность кончить класс. [1]

Горький выбыл из Слободско-Кунавинского училища в июне 1878 года, Хрисанф приехал в Нижний для занятия епископской кафедры 6 февраля 1878 года. Встреча их, изображенная в «Детстве», относится, следовательно, к этому промежутку времени.

Посещение епископом начальной школы для городской бедноты было, вероятно, явлением совершенно необычным. Но Хрисанф, поскольку можно судить по документам «Нижегородских Епархиальных Ведомостей» того времени, уделял вообще большое внимание образовательной части. Заинтересованность его в ученике начальной школы Пешкове не имела других последствий кроме того, что помешала уволить Горького «за недостойное поведение», — напротив, ему даже был выдан аттестат о «благонравии», оспоренном, впрочем, как мы видели, самим Горьким; все это не имело других последствий, может быть, потому, что Хрисанфа постигла вскоре личная катастрофа: 13 июля того же года его разбил паралич, фактически прекративший всякую его деятельность.

В «сведениях» о Горьком Нижегородского жандармского управления, в графе «место воспитания», значится: «обучался в Нижегородском Ремизовском приходском училище, но курса в оном по бедности не окончил, оставил это училище в 1879 году». «Ремизовским» Слободско-Кунавинское училище называлось, вероятно, в просторечии, — так же как Ильинская школа, в которой Горький учился до того, называлась «Ямской». Но дата неверная, как неверно и наименование училища

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVI, стр. 155—157.

ремесленным, встречающееся в других материалах. В Нижнем-Новгороде было одно ремесленное училище — Кулибинское, но типа значительно более высшего, чем училище «приходское». Серьезные заботы о нем нижегородского купечества были связаны с необходимостью иметь для себя кадры пароходных машинистов, ремонтных рабочих и вообще низшего технического персонала.

6. О РОДСТВЕННИКАХ

(К стр. 11)

По художественным образам повестей «Детство» и «В людях» читатель знает не только прямых родственников Горького — отца, мать, бабушку и деда, но и двух старших сыновей Каширина — «дядю Михайлу» и «дядю Якова», а также сыновей их — «Сашу Михайлова» и «Сашу Яковова».

В письмах ко мне А. М. не раз возвращался к воспоминаниям об этих людях его далекого прошлого, рассказывая о дальнейшей жизни их, за пределом времени, освещенного автобиографическими повестями.

Он всегда тепло вспоминал при этом «Сашу Михайлова».

«Александр Михайлович Каширин, двоюродный брат мой, был, действительно, хороший человек, но босяк и потому — пьяница. Не алкоголик, а человек, — очень мягкий, безвольный и пьющий из чувства товарищества, — «за компанию».

Романтик, лирик. Трижды судился за мелкие кражи. Но — воровал опять таки из мотивов товарищества. Устроишь его «на месте», он поживет немного, тихонький, всем покорный, а товарищи «золотая рота» из Миллионной улицы в Нижнем соблазнят его, он и украдет *для них*. Я вывез его из Нижнего в Крым, пристроил в Симеизе сторожем в имение графа Милютина, на 22 рубля, при хозяйских харчах и квартире, но Саша, прожив месяца три зимних, заявил мне: «Не могу жить без Волги» и — удрал.

... Он был веселый, тихий юморист, не дурно пел, отлично играл на гармонике. Был женат, но с женой, очень милой женщиной, не прожил и года, сбежал в «золотую роту». О нем можно бы написать роман, подобный роману Лоти — «Мой брат Ив».[1]

Переписка моя с Алексеем Максимовичем началась в 1925 году, когда я принимал участие в редактировании ленинградских альманахов «Ковш». Алексей Максимович интересовался их составом, сообщал отзывы, прислал для альманахов свой рассказ «О тараканах». Затем темы переписки нашей расширились рядом других редакционно-издательских дел. Но при каждом почти письме я «контрабандой» стремился получить от него ответ на тот или иной вопрос, разрешить который мне необходимо было по моим биографическим работам и ответ на который я мог получить только от него. Алексей Максимович отвечал иногда односложно, не очень охотно. — «Надоело мне вспоминать о прошлом, — писал он, — каждый раз, принимаясь за это, точно узкий сапог надеваешь: сапог-то хотя и совсем изношен, а все ногу жмет». — Но иногда, в счастливые для меня минуты, он присылал целые сцены прошлого, как бы эскизы целых рассказов, отмеченные печатью его изумительного мастерства.

Так случилось, когда я послал ему три старинные фотографические карточки с просьбой указать, кто на них изображен. Алексей Максимович сперва начал писать имена этих людей на обороте карточек, потом это показалось ему почему-то неудобным, и он перенес их на бумагу. А затем уже, «зацепившись» за одно из лиц и увлеченный воспоминаниями, написал такое письмо:

Дорогой Илья Александрович

возвращаю снимки.

1. —

Михаил Васильевич Каширин, мой дядя; тот, который переломил палкой руку бабушке. Его вторая жена, — Надежда, дочь трактирщика Чиркова. Сын их, вероятно — Константин.

2. —

Дети М. Каширина от второй жены: Константин, Николай, третьего не знаю как зовут. Двое были рабочими в Сормове, теперь, кажется — партийцы.

3. —

В середине с вытаращенными глазами — М. Каширин, по бокам — дети его; впереди с левой стороны, бородатенький — племянник, сын Якова Каширина Александр. Сей последний несмотря на серьезное выражение лица его и фуражку с гербом, — личность «сильно комическая». Его мать умерла, когда ему было пять или шесть лет от рода. Так-же как и первая жена дяди Михаила она взята была из обедневшей дворянской семьи. Александр утверждал, что, умирая, она внушала ему: «Помни, что в тебе течет дворянская кровь!» Поэтому Саша, будучи помощником Кривауса, регента церковного хора, начал носить дворянскую фуражку, но вскоре это было запрещено ему полицией. Он заменил этот «головной убор» фуражкой инженера путей, однако и это повело к неприятностям, так что ему пришлось носить шляпу, в ленту которой он воткнул серебряную стрелу. Жизнь «В людях» начал он мальчиком в магазине обуви Леонтия Порхунова, затем стал приказчиком, а мальчиком — я.

Далее: он был певчим — второй тенор — в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова, — отца Ивана, поэта; далее, — как сказано — помощником регента; «сидельцем» в «монопольке», но «просчитался», был судим и понес какое-то наказание, затем, стремясь в урядники, купил очень пёстрого коня и учился

[1] В другом письме А. М. еще так писал о «Саше Михайлове»: «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель — страстный — музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: «Зачем ты все о страшном пишешь?» Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал все и, являясь ко мне полуголый, говорил: «Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами»... Вообще это был замечательный парень, и, на мой взгляд, лишь по какой-то уродливой случайности он не стал поэтом, писателем. Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами» («Русский евгенический журнал», 1926 г. Том IV, стр. 128).

ездить верхом, гарцуя в поле, около оврага, куда сваливали городской мусор. Конь сбросил его в овраг, и — бесследно исчез, а Саша вывихнул ногу и сломал два пальца на левой руке. После этого он стал носить синие очки и пробовал организовать «Бюро похоронных процессий». Так как все его деловые предприятия субсидировались мною, — он предложил мне принять участие и в «Бюро». Это было уже в 1903-г. Хорошо помню мотивы предложения. Он говорил мне: «В городе тобой интересуются, так что если на вывеске будет твое имя вместе с моим, — мы покойников получим». По недостатку времени, а так-же по некоторой антипатии к делам коммерческим, я отказался от организации «Бюро похоронных процессий», но денег ему дал. Он купил николаевскую шинель с воротником шалью, меховую шапку, два кольца, с красным и зеленым камнями, орден Станислава, низшей степени, медаль «За спасание погибавших» или утопавших. Орден я не советовал ему носить, а медаль он все-таки прикрепил на узенькую грудь свою. Был он высокомерен и труслив, деспотичен и подхалимоват, к людям, не дворянской крови относился пренебрежительно, почти брезгливо. Старался говорить барственно и веско, но говорил тускло и «своим словцом» не обладал. Впрочем, кажется, он слово «хорошо», заменял менее ответственным — «удовлетворительно». О своих неудачах он рассказывал не жалуясь, тоном охотника, который «своими глазами видел» единоборство лисы с тетеревом и победу тетерева над лисой. Говорил: «Может быть богато и нет, а в церковь ходить все таки следует, приличнее». Приличия он соблюдал строго. Отлично, как и отец его, дядя Яков, играл на гитаре, вдвоем они, под аккомпанимент гитар, чувствительно распевали старинные романсы: — «Там где море вечно плещет», «Кольцо души-девицы я в море уронил», «Стонет сизый голубочек», «Как — от ветки родной, лист осенней порой, оторвавшись, по ветру летает», «Что ты сунженец не весел, беззаботный сорванец». Я до сего дня помню десятка полтора, два таких романсов. Пели и «Стрелочка» и «Эх, Машуха полорота, ты не шляйся за ворота», но оба предпочитали веселому — «чувствительное». Дядю

Якова, Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец-же — любил его, — «души в нем не чаял», — смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

— «Саша-то, а? Бар-рон...»

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

— Каширин, ты что-же, брат, забыл про самовар?»

И снова вспоминал «Сашу Михайлова»:

«У Михаила Каширина был от первой жены сын, тоже Александр, удивительно милый человек, но, по природе своей — лентяй, бродяга, профессиональный босяк. Об этом Александре можно бы написать не хуже, чем Лоти написал книгу «Мой брат Ив».

Понятно было мое восхищение его рассказами по поводу карточек. В следующем письме А. М. писал:

«Ваше отношение к моим «комментариям» побудило меня дать несколько черточек к характеристике дяди Михаила, думаю, что этого требует справедливость наблюдателя и свидетеля.

Был он, дядя Михаил, человек тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек. Странно, — однако мне кажется, что большинство людей, именуемых Михаилами, именно таковы. Весьма возможно, что в характере Михаила Каширина было нечто сродное с Михаилом Ивановичем «Растеряевой улицы». Бабушка называла его: «злоокий». «Эх, ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!»

Глаза у него — круглые, птичьи, белки — в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил — быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи, — так пьяные идут в драку. Работу — не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой. Бегал по двору,

засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске и — матерно ругался. Работа не удавалась ему и толстущая его жена зорко следила, чтоб он не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой, как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: — «Господи! Из-ззувечила!»

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: «По-азбучному», наполняя это слово различным содержанием, произнося его то — с иронией, то — пренебрежительно или равнодушно, изредка — одобрительно. Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, — у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: «Отстань, пьяное чудище!» Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: «По-азбучному!» и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился чтоб поднять его, — отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: «Аг-га, по-азбучному!»

Это словцо заменилось у него другим: «кусательно». «Кусательно» пели певчие обедню, «кусательно» горячи были щи и «кусательно» штрафовала Ремесленная управа. Затем явилось слово — «Рудольф» и также как в два первые, он влагал в него различное содержание. Этим его пристрастием к необыкновенным словам я воспользовался для Сатина в «На дне».

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, — ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку. Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одеже, затем женатый на дворянке — принужден был жить с толстой, удивительно тупой и

грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

Что же касается «Саши Михайлова», то сходство его с матросом Ив Кермадек из романа Лоти было действительным сходством характеров. Добряк и мечтатель, душевно чистый человек, Ив гибнет в силу окаянных условий своей жизни и вследствие той непобедимой уже слабости, которою страдал и Александр Каширин.

«— По крайней мере, вы отлично знаете, брат, что я переменился теперь и есть н е ч т о, с чем совершенно покончено; ведь не об этом вы говорите?

А я пожал руку моему брату Иву, стараясь улыбнуться, как человек, вполне доверяющий.

Нужно бы уметь прекращать истории в жизни, так же как мы прерываем истории в книгах...»

7. МОДНЫЙ МАГАЗИН ОБУВИ

(К стр. 13)

В «Нижегородском Биржевом Листке» Порхунов рекламировал свое предприятие как «огромный выбор всех сортов обуви Венских, С.-Петербургских, Московских и Варшавских фабрик в оптовой и розничной продаже».

Автобиографическая повесть Горького «В людях» начинается со сцен, происходящих в магазине Порхунова. Там же рассказывается и о взаимоотношениях Горького с его двоюродным братом, Александром Каширим, сыном Якова Вас. Каширина, — «Саша Яковов» в повести «Детство». Он поступил к Порхунову раньше Горького и имел уже над ним некоторое старшинство. Служба Горького у Порхунова прервалась весной 1879 года, Каширин же еще оставался в магазине некоторое время, что видно из такого происшествия, зарегистрированного «Нижегородским Биржевым Листком» 22 июля 1879 года:

«Дочь диакона Анна Павлова заявила, что она в час дня 19 числа была на Б. Покровке в магазине Порхунова для покупки обуви и там нечаянно обронила кредитный билет в 3 рубля. Подозрение в поднятии денег она заявила на служащего в магазине мальчика 13 лет, сына нижегородского цехового, Александра Каширина, на том основании, что он находился на том месте, где обронены были деньги, и что кроме его тут никого не было. Мальчик Каширин в поднятии денег не сознался, и при нем по осмотре ничего не найдено».

Александр Каширин не долго служил у Порхунова и вскоре вступил певчим в церковный хор Рукавишникова, курьезное барско-купеческое предприятие. Отца его, Якова Вас. Каширина, постигло общее всем линиям семьи Кашириных разорение и, так сказать, «деклассация». Но «Саша Яковов», в отличие от своего двоюродного брата «Саши Михайлова», сошедшего в босяки, старался, как мы видели, занять, хотя и без особого успеха, возможно более, по его представлению, эффектное место в мещанском кругу.

В 80-х годах жизнь Кашириных представляла типичную картину распада мещанской семьи, эпизоды из ее быта и производимый ею шум проникали (через полицейские протоколы) даже в местную печать. Вот изумительное сообщение «Нижегородского Биржевого Листка» от 13 ноября 1884 года (времени, когда Горький переехал в Казань и территориально уже не соприкасался с Каширинами):

«Проживающий на Готмановской улице, в доме Веселовского, нижегородский мещанин Василий Васильев Каширин 10 ноября, в 12 часов утра, заявил, что 7 ноября он попросил внука своего, нижегородского цехового Александра Яковлева Каширина, находившиеся у него в незапертом сундуке деньги 90 руб. переложить из одного места в другое, а сам в то время выходил на двор; возвратившись со двора, он проверил действительность перекладки денег в сундуке и сундук тот завязал веревкой; 10 же ноября стал осматривать сундук и нашел веревки целыми, а денег в сундуке не оказалось; почему он и подозревает в краже их своего внука Александра Каширина»...

8. ЕЩЕ О РОДСТВЕННИКАХ

(К стр. 14)

Кто это «М., дальний родственник» мой? — писал мне А. М. — Нужным считаю осведомить Вас, что существуют люди, облыжно и неведомо — зачем? — именующие себя родственниками моими; даже из Канады прислали мне семейную фотографию: изображено на ней человек десять обоего пола и все — неоспоримые евреи. Где-то в Закавказье живет «родной брат» мой, по имени Серафим, а по телеграммам его — сумасшедший. В 29-ом году, в Москве, пришла дама и объявила: «Я — ваша дочь!» Спрашиваю: — Почему? «А, вот,» — говорит — «в 903-ем году вы принимали участие в разводе мамаши моей с ее мужем, так, очевидно, была у вас личная заинтересованность в этом деле...» Совместно и подробно разобрались в событиях и оказалось, что я к «делу» непричастен, да и от места действия — далеко был. Доказательства в пользу «алиби» моего удовлетворили даму, посмеялись мы с нею и она ушла, оставив у меня впечатление, что история выдумана ее желанием познакомиться с писателем. Вообще — родственников много, но есть и настоящий троюродный брат, даже стихи пишет; недавно прислал целую тетрадь, рекомендуется так:

«Я не всамделишный поэт
Какие есть и были встарь
Не член поэтов цеха — нет!
И не писательства кустарь»

А сочиняет такое:

«Настал семнадцатый год
Рушились стены тюрьмы
Сверг истукана народ
Не рады, что-ли были мы?»

Это — тот самый бывший мальчик, который, открыв кран самовара выпустил из него воду, вследствие чего самовар распаялся, а меня — выдрали.[1] Прилагаю его письмо, может быть годится Вам, биограф.

---

[1] Об этом эпизоде рассказывается в повести «В людях» — Собр. соч., том XVII, стр. 122. *И. Г.*

Письмо этого «спутника» отроческих лет Горького действительно не лишено интереса.

Уважаемый Алексей Максимович!

Года три я думал, но все же не решался беспокоить Вас, особенно в Москве.

Дело вот в чем.

Я думаю, что еще и отец мой говорил Вам, что меня считали талантливым и математиком, и художником, и слесарем и пр., но все эти грехи отпали — проще — не пригодились мне в жизни.

Года три-четыре тому назад — совершенно случайно у меня обнаружилась еще одна и уже никак не ожидаемая «способность» — писать рифмой и при настроении без конца.

В первое время меня это интересовало и я записывал всю попадавшуюся под руку бумагу.

Написанного я никому не читал, домашние хотя и знали, что я «пишу», но никогда этим не интересовались, считая это (да и я сам) шуткой и при периодических уборках все написанное сжигали или шло в уборную.

С год назад я решил уцелевшие отрывки занести в тетрадь (посылаю Вам).

На днях после годичного антракта в писании, я случайно проговорился одной даме (при встрече нового года) о своем грехе и по ее просьбе описал эту встречу, а для заполнения тетрадки и еще кое-что (конец посылаемой тетрадки). Искренно прошу Вас поверить, что я не собираюсь в поэты и мысли не имею об этом, но меня интересует чисто психологически: — в жизни мне менее всего было до стихов, даже в молодости «этого» за мной не водилось, почему же на 50-м году жизни эта «способность» проявилась? . .

Говорят — ничего и похоже на настоящие стихи. Сам я понимать написанного мной не могу; знакомых из лиц «пишущих» не имею абсолютно; обратиться к незнакомым — не остроумно — читать едва ли будут. Решил обратиться к Вам.

Само собою Алексей Максимович я не прошу Вас читать всю посылаемую ерунду, но если будет время просмотрите на выдержку и если найдете нужным ответьте,

Вновь повторяю меня интересует один лишь вопрос — была ли во мне эта «способность», как и многие другие действительно бывшие, свойственна мне или же она появилась под действием внешних факторов уже на конце жизни и действительно писанное есть стихи?»

9. ГОРЬКИЙ И КОРОЛЕНКО НА ОДНОМ РЕЙСЕ

(К стр. 18)

«Отупляющая тоска» первых двух лет работы у Сергеева была прорезана выходом из этого дома к новым впечатлениям. Весной 1880 года, после первой зимы у Сергеева, Горький убежал от него на волжские пристани и нанялся там «посудником» на пароход «Добрый», в то пароходство, где еще отец его работал столяром.

В «дневнике происшествий» «Нижегородского Биржевого Листка» пароход «Добрый» обычно назывался «арестантским»: по давнему договору пароходчика Колчина, а потом — Курбатова, с тюремным ведомством он, кроме перевозки пассажиров, буксировал еще баржу с арестантами, направляемыми в Сибирь. В прежние времена осужденные на каторгу или ссылку в Сибирь шли этапом по знаменитой «Владимирке». С проведением в 1862 году железной дороги из Москвы на Нижний этот путь частью заменил арестантам их старинное этапное движение: теперь они направлялись по железной дороге до Нижнего, а оттуда по Каме, Тоболу — на барже. «Арестантский» пароход «Добрый», на который удалось поступить Горькому, и делал такие рейсы: Нижний — Пермь, неделя — туда, неделя — обратно.

Горький так вспоминал свою жизнь на нем:

«Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. . . За пароходом на длинном буксире тянется

баржа; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осужденные на поселение и каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового... На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна, — это арестанты смотрят на Волгу».[1] К массе уголовных, переправляемых таким образом, в эти года присоединяли большое количество политических, после того как правительство, испуганное движением революционных народников, применило массовую бессудную ссылку, особенно после «высочайшего повеления» 24 мая 1878 года и других актов самодержавия, которые Вл. Короленко назвал «законами о беззаконии».

Летом 1880 года, в первое лето службы Горького пароходным посудником, проследовал на барже «Доброго» и Короленко.

Горький не раз указывал на ту благотворную роль, которую сыграл в его жизни повар парохода «Доброго» — гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый. «Он возбудил во мне интерес к чтению книг, — писал Горький еще в автобиографической заметке 1897 года. — У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом «Современника», тут же были «Искра» за 64 год, «Камень веры» и книжки на малорусском языке».[2] Страстный любитель книги, Смурый, однако, плохо разбирался в ней. Больше всего у него было книг XVIII века, это были «те уже никому ненужные, устарелые книги, которые подсовывали малограмотному читателю жуликоватые букинисты», — по удачному замечанию В. А. Десницкого.[3] Но во всем этом важно было то, что Смурый своей бескорыстной приверженностью к книге возбудил у Горького интерес к чтению, заставил его «убедиться в великом значении книги и полюбить ее».[1] Этого не могли сделать ни домашнее обучение, ни приходская школа, не внушившие Горькому к книге никакого интереса, ничего кроме отвращения.

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 71—72.
[2] «Русская литература XX века», под редакцией С. А. Венгерова, том I, стр. 191.
[3] В. Десницкий, М. Горький. 1935 г., стр. 215.

Случайно среди книг, которые Смурый заставлял Горького читать ему вслух, попадались и вещи классической литературы. В повести «В людях» рассказано о том, какое впечатление произвело чтение «Тараса Бульбы» на чтеца и на слушателя. Но бывало и так, что вкусы их резко расходились. Лубочное «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», весьма понравившееся Горькому, было подвергнуто поваром уничтожающей критике, уничтожающей — в буквальном смысле, потому что книга была смята и выброшена за борт.

Осенью 1880 года Горький был вынужден вернуться к Сергееву, а весной 1881 года снова нанялся на пароход «Пермь» купца Любимова. Это был уже почтовый пароход. Здесь тринадцатилетний Горький служил уже в должности «черного» посудника, «кухонного мужика», и обязанности его, — как писал мне А. М., — были в том, что он «мыл, чистил котлы, кастрюли, сотейники, заведывал «гард а манже», т. е. каютой, где хранились мясо, овощи и пр., надпись на дверях таких кают обычно извещала русским шрифтом, что это «гранд манжа» или проще: «Граманжа».

10. ГРУШНИКИ

(К стр. 20)

Говоря о распространении в 60-х годах лубочной литературы через «офеней», «ходебщиков», «грушников», я сделал такое примечание:

«Грушниками» назывались развозчики товара по деревням, имевшие в своей телеге род универмага и занимавшиеся не только продажей, но и меной, сбывая ситец, ленты, платки, книжки, пряники, вареные груши и т. д. и принимая в обмен домотканное полотно, лен, старое железо и пр. Этим они отличались от «офеней»,

[1] «Русская литература XX века», том I, стр. 191.

торговавших преимущественно книгами и картинками, и от «ходебщиков» и «коробейников», тара которых была мало пригодна для широкой мены. «Грушником» является всем известный «дядюшка Яков» у Некрасова, кричавший:

По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

Прочтя это примечание, А. М. написал мне:

«Грушниками» назывались уличные продавцы пареной груши. По окраинным улицам верхневолжских городов хаживали грязные, отрепанные мужички, толкая перед собой двухколесную тележку, в тележке — кадка с мелкой грушей, которая покупалась в Рязани. Ее парили в корчагах, добавляя к ней брюкву и немного сдабривая сии продукты патокой и солодом, — получалась густая каша темно глинистого цвета. Идет такой человек и поет:

Садовы, сладки
Пареные груши-и!
Тащи, ребята,
Чугун, железо,
Кости, хрусталь, тряпки,
Худые голицы-и!

Напев — такой, что можно думать: именно так выпевали бирючи «государевы указы». Клич этот вызывал на улицу мальчишек, и они «тащили» заране собранные кости, тряпки и все прочее, за что грушник платил своим, очень неприглядным, но вкусным товаром, черпая его из кадки деревянным черпаком, вместимостью в три столовых ложки — самое меньшее. Но он платил также от копейки до пятака за медь: ручки дверей, скобы шкафов, подсвечники, самоварные канфорки и прочее такое. Он особенно любил медь и поучал и ребят где и как взять ее. Любил он пуговицы всех качеств, охотно брал чайные чашки, солонки, перечницы, вообще брал всякую домашнюю мелочь. Ребятишек за эти меновые операции секли более или менее жестоко, грушника иногда родители останавливали, обыскивали, и, находя у него ценные вещи, били.

«Дядюшка Яков» Некрасова не имеет никакого родства с грушником. Редко бывало, чтоб грушник имел телегу и лошадь, но — бывало. Умнейшие из родителей, чтоб отвадить детей от краж, внушали: грушники — золотари, т. е. ассенизаторы, иначе — говночисты — и в кадках у них именно — оно самое. Но хотя пареная груша видом своим весьма напоминала его — сластоешки не смущались этим, и поучения родителей успеха не имели».

Это описание явилось случайно, благодаря расхождению в понимании термина «грушник».[1] Но оно может дать читателю наглядное представление о тех чудесных устных рассказах Алексея Максимовича, когда он в беседе, иногда по самому незначительному поводу, начинал вспоминать картины прошлого. И возвращаясь к этому же в следующем письме, на мой вопрос — какою же грушей торговал «дядюшка Яков»? — А. М. отвечал:

«Дядюшка Яков» мог торговать и пареной грушей и просто грушей. «Моченой» грушей, грушевым и можжевельным квасами торговали в Нижнем, на Почайне, специально для этого дела созданные природой толстые бабы».

11. ГОРЬКИЙ И БАЛЬЗАК

(К стр. 41)

В письме к Октаву Мирбо, относящемся к 1911 году, Горький обращается к воспоминаниям о первых годах своего сознательного чтения. Порядок чтения по этим воспоминаниям дан несколько отличный от того, который через некоторое время по более детальной работе памяти описан в автобиографической повести «В людях». Но остается то же соотношение между «авантюрными» романами, «психологической» повестью Гонкура и сочинениями Бальзака.

[1] Тип продавца груш менялся по времени и месту. О той его разновидности в верхневолжских городах в 80—90-х годах, о которой пишет А. М., есть статья в «Волжском Вестнике», 1891 г., № 77: «Грушники, как причина нравственной порчи детей». О грушниках первого типа имеются сведения в литературе 60-х годов, но еще в «Русском Богатстве» 1881 года, в статье А. Мичурина о народной книжной торговле есть описание грушника, развозящего по деревням книги в числе других товаров.

«Вспоминать о творчестве Бальзака, — пишет в этом письме Горький, — мне так же приятно, как путнику, идущему по скучной, бесплодной долине вспомнить когда-то пройденный им край, плодородный, богатый красотой и силой.

Мне было лет тринадцать, когда я прочитал первую книгу француза. Это была книга Эдмонда Гонкура «Братья Земганно», — трогательная история жизни артистов, людей, обреченных роком на духовное одиночество в тесном, искажающем душу круге враждебного любопытства к ним.

Эта славная книга взволновала меня своей человеческою грустью и навсегда внушила мне особенно внимательное, страстное и сочувственное отношение ко всем людям, отдающим миру лучшее своей души.

В то же время Гонкур разбудил у меня жажду ознакомиться с литературой Франции, историю которой я в то время немного и отрывочно знал и которая представлялась мне страною рыцарей, страной героев. Я стал спрашивать у знакомых гимназистов, какие есть авторы во Франции и просил их доставать мне переводы французских книг.

Мне пришлось проглотить бесчисленное количество томов Дюма-отца, Понсон-де-Террайль, Буагобея, Законнэ, Габорио, Ксавье-де-Монтепэна и с десяток других авторов, прежде чем в руки мои попал томик Бальзака — это была «Шагреневая кожа».

Ясно помню то неописуемое наслаждение, с которым я читал страницы, где описывается лавка антиквария — это описание остается для меня одним из лучших образцов пластики слова. Другое место в этой книге, поразившее меня своим мастерством — диалог на банкете, где Бальзак, пользуясь только бессвязными фразами застольного разговора, рисует лица и характеры с поражающей отчетливостью.

Я стал искать Бальзака и следующая его книга, прочитанная мною, была «Père Gorio» — это окончательно победило меня и долгое время я чувствовал себя Растиньяком, грозящим миру местью за попранное достоинство человека, за те боли, которыми люди наполнили его грудь. Мне в те дни плохо жилось, но я был здоров и поэтому стал романтиком.

«Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в двадцать, эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленному романтизму, и я почувствовал в ней гений Бальзака и полюбил его горячей любовью, как, вероятно, любят учителя и друга.

Двумя-тремя годами позднее в России явился перевод полного собрания сочинений Бальзака, я дважды прочитал все его книги и тут понял всю величину этого писателя, эпический размер его таланта изумил и пленил меня. Широта его планов, смелость мысли, правда слова и гениальные предвидения будущего уже во многом оправданные настоящим — делают его одним из величайших учителей мира.

Шекспир, Бальзак, Толстой — вот для меня три монумента, воздвигнутые человечеством самому себе. Без Бальзака я менее понимал бы Францию, ту страну, которая всегда шла и поныне идет впереди человечества, всегда вырабатывая в той или иной области новые формы творчества, новые формы жизни... Ее позорят банкиры, о чем мне однажды пришлось говорить [1] и что вызвало в стране, любимой мною, непонятное и не тронувшее меня возмущение, но — антикультурная, античеловеческая деятельность французской биржи, подставившей ногу русскому народу на его пути к свободе — эта деятельность, я знаю, никогда не затемнит чистого сияния таких имен, как имена Гюго, Бальзака, Флобера — истинных детей Франции, страны великих дел и великих имен.

Я не могу учесть, я не знаю, чем я лично обязан Бальзаку, но что его влияние вообще на русскую литературу было значительно, это несомненно и засвидетельствовано однажды Львом Толстым. Он спросил меня:

— Кого вы читаете чаще других?

Я сказал.

— Это хорошо. Но — читайте больше французов. Бальзака, у которого в оное время учились писать все, Стендаля читайте, Флобера, Мопассана. Они умеют писать, у них удивительно развито чувство формы и умение концентрировать содержание. Рядом с ними

[1] Памфлет М. Горького «Прекрасная Франция» 1906 года. *И. Г.*

можно поставить только Диккенса, да, пожалуй, Теккерея. Если бы я не читал «Пармскую шартрезу» Стендаля, я не сумел бы написать военные сцены в «Войне и мире».

«Мне хочется сказать еще, — так заканчивает письмо Горький, — что книга играла в жизни моей роль матери и что книги Бальзака наиболее дороги мне той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с великою силой и радостью я всегда ощущал в его творчестве». [1]

12. ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

(К стр. 47)

В «Нижегородском Биржевом Листке» 29 января 1883 года было помещено следующее объявление:

От иконописного заведения и торговли Д. А. Салабанова.

Имею честь довести до всеобщего сведения, что за смертью мужа моего Дмитрия Андреевича Салабанова, основателя иконописного заведения и торговли, дело это перешло ко мне и продолжается в тех же размерах и при тех же порядках, какие существовали при покойном моем муже. Иконописное заведение помещается на Готмановской улице, близ 2-ой части, в собственном доме. Торговля — на Нижнем базаре, над шорным рядом. Прием заказов производится как в самом заведении, так и в лавке, при последней продаются также духовные книги. Нижегородская купчиха

Ирина Яковлевна Салабанова.

---

[1] Печатается по автографу. На французском языке напечатано в «La Revue», 1911 г., 15 июля, № 14.

В предисловии к этой публикации сообщалось: «Нам показалось интересным, по случаю конференции «Общества друзей Бальзака», запросить автора «На дне», что он думает о Бальзаке, как человеке и писателе. Он нам ответил следующим письмом, представляющим драгоценный литературный документ».

Сам же А. М. назвал это свое высказывание «письмом к О. Мирбо, написанным по поводу юбилейного издания книг Бальзака».

Это найденное мной объявление имеет существенное значение в установлении биографических дат и хронологии повести «В людях». По материалам повести, иконописное заведение и иконная лавка принадлежат вдове, «мягкой пьяненькой старушке», оплакивающей своего покойного мужа, а начальство Горького, приказчик лавки, «Кузька-жучок», метит, женившись на хозяйкиной племяннице, прибрать к рукам заведение и торговлю. Один из мастеров, Ситанов, говорит: «Вот, было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь все хинью идет, все в Кузькины лапы направилось!» Если с вышеприведенным объявлением сопоставить помещенный в той же газете в номере от 19 ноября 1882 года список присяжных заседателей Нижегородского уезда на 1883 год, — список, в котором еще значится цеховой Дм. Андр. Салабанов, — то, по этим данным, смерть иконоторговца следует отнести к пределам: ноябрь 1882 года — январь 1883 года. Начальное время этого периода более соответствует материалам повести: Горький поступает на службу к Салабановой «позднею осенью» и с первых же дней имеет дело с хозяйкой, а не с хозяином, — это могло произойти не ранее осени 1882 года.

Таким образом, в некоторое отличие от материалов повести, можно уточнить биографические даты, имея документальные данные: у Сергеева Горький служит не две зимы, а три — в 1879/80 году, 1880/81 году и в 1881/82 году. Это подкрепляется и тем соображением, что чтение Горьким «Московского Листка» в семье Сергеева могло происходить только начиная с зимы 1881/82 г., так как газета эта стала выходить с 1 августа 1881 года. Служба у Салабановой относится, следовательно, к зиме 1882/83 г., до Пасхальной недели 1883 года, когда Горький встречается с Сергеевым и соглашается вступить к нему на службу десятником. Таким образом, в день именин Горького, 17 марта 1883 года, когда мастера подносят ему подарок, ему не тринадцать лет, как это следует из текста повести, а пятнадцать. Соответственно этому приходится заключить, что и у Сергеева, после иконописной мастерской, в последний раз он служит не «три

лета», как об этом говорится в повести, а два лета и зиму, с весны 1883 года и по осень 1884 года, когда Горький уезжает в Казань. (См. примечание 16-е.)

Есть косвенные указания и на происхождение мастерской. В дневнике происшествий «Нижегородского Биржевого Листка» от 4 марта 1883 года сообщается о пожаре у Салабановой: горела деревянная баня в саду. Салабанова в этом газетном сообщении называется по своему официальному состоянию — крестьянкой Вязниковского уезда села Палех. По всем вероятиям, и сам Салабанов был первоначально кустарем-«богомазом» этого села, который, после того как сколотил себе некоторое состояние, открыл в Нижнем «заведение», стянув сюда до двадцати своих земляков-«богомазов»; в повести упоминается, что все они были из Палеха, Холуя, Мстеры, — это села все того же Вязниковского уезда. Новые экономические основания работы обусловили и другую технику, своего рода ремесленную «фабрикацию», о которой подробно рассказывается в повести Горького и которая в работе кустарей, работавших на более самостоятельных и обособленных началах, еще не наблюдается. Может быть, именно тоска по этому утрачиваемому целостному мастерству живописца была у лучшего салабановского мастера Жихарева, когда он, роясь в иконописных «подлинниках»-образцах, громко ворчал: «Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!.. Живем без окрыления... Где — душа? Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет...»[1] Незавершенность процесса ремесленной фабрикации сделала возможным то обстоятельство, что на местах кустарная живопись сохраняла еще элементы органического искусства, а в советское время, как известно, искусство «палешан», освободившись от обязательных в свое время церковных мотивов, поднялось на небывалую художественную высоту.

Известно внимание и интерес Горького к советскому Палеху, а также заботы А. М. об удовлетворении его нужд. Еще в 1927 году он писал мне: «Пожалуйста, пришлите мне «Кустарную промышленность» и — нет

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 180, 181, 192, 193.

ли чего-либо специально о кустарях-«богомазах» Мстёры, Холуя и Палеха. Сейчас они работают совершенно изумительные вещи и очень бы хотелось знать, какой умный Дьявол научил их прыгнуть так высоко? Ой, — талантлив народ наш!»

В повести же рассказывается о том, какая тягостная скука царила в мастерской, среди иконописцев, работа которых была разложена на длинный ряд механических действий, «неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему». Иногда Горькому удавалось разрядить несколько эту скуку своими рассказами. Как рассказчика и чтеца его ценили. Горький читал мастерам все, что удавалось достать, — рассказы Голицинского, Булгарина, барона Брамбеуса и, как увидим дальше, Рафаила Зотова. Огромное впечатление произвело чтение Лермонтова.

Близко сошелся Горький с учеником-иконописцем Павлом Одинцовым. Это был бойкий и умный юноша, талантливый рисовальщик и карикатурист.

В дни зимних вьюг и особо-тяжелой, мучительной скуки, когда даже книги не помогали, Горький с помощью Одинцова старался развлечь мастеров другим способом. Они мазались сажей и красками, украшались пенькой и разыгрывали «комедии». Вспомнив лубочную книжку «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», Горький изложил ее «в разговорной форме». Актеры взлезали на полати и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам, при общем хохоте публики.

«Ей особенно нравилась легенда о китайском чорте Цинги-Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного чорта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — все остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чорт в великом унынии, после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро».

«Легенда о китайском чорте» является, несомненно, или лубочной переделкой, или самим романом Рафаила Зотова «Цин-Киу-Тонг, или три добрые дела Духа Тьмы».[1] Роман этот, изданный в 1840 году в четырех

[1] Этот источник указан мне В. Шкловским.

томиках, был типичным явлением той мещанской литературы крепостнической эпохи, о которой шла у нас уже речь. Некий дух по имени Цин-Киу-Тонг, из числа падших ангелов, в отличие от всех других своих собратий, задумал делать на земле не зло, а добро. С этой целью он стал доставлять людям золото, но оказалось, что такая филантропия только развращает людей, что бедным людям нужно не золото, а смирение, преданность власти, закону и религии. Чтобы такой скучный, нестерпимо нравоучительный сюжет обернуть занимательной комедией, нужно было обладать хорошей и веселой фантазией.

С Павлом Одинцовым Горький встречался и позже. Из него выработался хороший мастер, потом он бросил свое ремесло, начал дико пить, опустился, через некоторое время Горький встретил его уже босяком на Хитровом рынке в Москве. Сохранилось два письма Одинцова Горькому, относящихся к 1900—1902 годам.

1

Дорогой друг Алеша!

Прости, что так осмеливаюсь тебя называть, но — поверь сердце так подсказывает; письмо твое получил, и несказанно рад, рад тому, что скоро лично тебя могу увидеть, прошу и умоляю тебя уведомь когда (т. е.) в какой день и часы приедешь в москву я приеду тебя встретить на вокзал — я и прошлыи твои проезд ходил тебя встречать и ждал тебя увидеть в толпе твоих почитателей. Но не пришлось — ты знаешь почему. Заранее прошу тебя уделить мне не сколько время, сходить стобои куда нам вздумается. О себе я ничево не могу писать чувства мои переполнины радостью о скором свиданий стобои и более отом что ты какои был такои и есть до сево время, все что желалось бы тебе сказать скажу лично — но не сделаи так, как обещался после нашего свидания в Н. Н. быть у меня, в москве но был и уехал не давши о себе знать. Я конечно приписываю это тому ссора в художественном театре нервное расстройство много много желающих тебя видеть доличного свидания Остаюсь Глубоко тебя уважающий друг детства

Павел С Одинцов.

2

Дорогой друг Алеша!

Спешу тебя предупредить ты быть может в скором времени будешь в москве как ты писал не трудись меня уведомлять я в настоящее время работаю в Самаре в единоверческой церкви жалею очень жалею. Что не придется посмотреть твою пьессу На дне не знаю быть может она поидет и здесь но канечно того не получится как в москве не наидешь ли ты время мне сообщить где самое лучшее достать твои книги у меня просит один господин узнать откуда их выписать. Я еще пока имею твои 1 и 2 и 3 тома лучшее из них я нахожу бывших людей что затипы что закувалда одно я могу тебе пожелать береги себя я слышу что твое здоровье не в порядке. Храни тебя бог для нас простых людей дорог ты нам роднои нашь Максимычь а осебе и говорить нечего. Я одно вспоминаю наше детство как оно было не мрачно но лучше чем теперь дела скверные да и этих почти нет а что и есть то прибирают в свои руки разные учреждения. ещо сообщи мне как тебе писать Алексея ч[еловека] б[ожия] на доске или на парусине. Я бы давно тебе сделал но право не могу вспомнить и решится вить я ничто иное заурядный иконописец может ли тебе пондравится моя мазня да илюди утебя бывают с талантами что оне скажут о ней если ты не раздумал иметь от меня на память то уведомляи я и начну писать да если не затрудню то пришли что можешь из твоих книг 1—2—3 тома я имею не откажи буду благодарен и все со мнои кто у меня берет их читать. Не поверишь как я получил от тебя книги. Сам прочел и не находились у меня 1-го месяца. Просят ая с радостью даю вот воимя любящих тебя пришли. Что можешь а по нынечным делам сам я преобресть не собирусь. От души тебе желаю здоровья остаюсь

Павлуха Одинцов. [1]

«Ссора в Художественном театре» — это, несомненно, инцидент в Московском Художественном театре в ноябре 1900 года, когда Горький отчитал падкую до сенсации публику, ломившуюся в ложу, где сидел он

[1] Из неизданных материалов.

и Чехов, и желавшую поглазеть на писателя «из босяков». П. С. Одинцов на своем наивном языке правильно называет это «ссорой». Это был действительно первый резкий конфликт писателя с буржуазной публикой, — конфликт, жадно подхваченный и раздутый бульварными газетами.

В сопоставлении с этой историей особенно трогательны письма П. С. Одинцова, одного из первых читателей-пролетариев, — его восхищение рассказами Горького — «что за типы, что за Кувалда» — и его любовь к своему писателю, которая шире пределов личной дружбы: «Храни тебя бог для нас, простых людей, дорог ты нам родной наш Максимыч, а о себе и говорить нечего».

13. ГОРЬКИЙ В ТЕАТРЕ

(К стр. 47)

В художественных материалах, не вошедших в собрание сочинений Горького, сохранился рассказ о том, какие побуждения заставили Горького испытать счастье на службе в театре и какие это имело результаты.

«...Лет пятнадцати я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, все подо мною как будто покачивалось, проваливалось и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь всеми голосами своими внушала:

— Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно.

Но жульничать мешала органическая брезгливость, неизвестно как и откуда запавшая в сердце.

Искал я и жаждал какой-то особенной правды, твердой и прямой, как шпага...

— Правда? — восклицал тихо и насмешливо мой друг и учитель плотник Осип. — Правда — есть! от, ежели тебя взять за волосья, да часок повозить по земле, ты и учуешь ее, правду...

Я понимал, что он шутит от «нечего сказать»; я знал, что этот хитрый старичок, способный обо всем

наговорить тысячу слов, одинаково ловких и умных, сам не ведает, где правда, не ведает и, кажется, давно уже отчаялся найти ее.

Жилось трудно.

В это время трактирный певец Клещов, человечек невзрачный и неприятный, внушил мне беспокойную мечту. Он, несомненно, обладал таинственной и редкой силой заставлять людей слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приглядной, чистой, человечьей. Тогда я вспомнил, что ведь и мне, в иконописной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им, удовлетворявшее меня.

Может быть, мне действительно надо идти в цирк, в театр, — там я найду прочное место для себя?[1]

Я решил попробовать, и — вот я статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чортом в пьесе «Христофор Колумб».

Красное, кирпичное здание театра снаружи неприятно похоже на амбар, — внутри оно вызывало чувства темные, гнетущие.

Помню, как по просторной, полуосвещенной сцене, против черной дыры, наполненной сырым мраком, толстенький человечек, бешено ругаясь, гонял нас, кучу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

— Крокодилы дохлые, — убьете вы меня!

Мне казалось, что он притворяется, — нет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной, тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

— Какие же вы индейцы? Вы — свиньи, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

...Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии, — книжка Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн Рида, Эмара и, думая,

[1] «Направлять себя» в цирк или театр советовали Горькому его товарищи по иконописной мастерской. *И. Г.*

что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя, он укоризненно кричал:

— Послушай, ты, длинный, окаянный сухарь, смычок, жердь вавилонская, — что у тебя пятки подрезаны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьешь ты меня, бессовестная фигура!..

На спектакле я все таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец, и усердно тыкал деревянным острием копья в животы неуклюжих испанцев. Это очень веселило людей за кулисами, но помощник режиссера был все таки недоволен мною.

— Послушай, диван с пружинами, — сказал он мне в антракте, — если ты будешь качаться во все стороны, я тебя швырну в омут!

А тут еще подошел пышно одетый испанец, человек близкий самому Колумбу, и пожаловался на меня:

— Я этого верблюда проткнул насквозь шпагой, а он — хоть бы что, даже не пошатнулся! Чудесно вы обучили их, милый мой...

Среди испанцев, чертей и краснокожих спокойно расхаживают обыкновенные русские люди, обыкновенные женщины; одна из них, маленькая и вся в черном, точно монахиня, сказала испанцу:

— Егор, ты помнишь Тулу?

Я чувствовал себя нелепо, где-то между сном и явью. Расширяясь во все стороны, передо мною плавал огромный черный мешок, тесно набитый головами людей, точно дынями. Эти бесчисленные головы казались мне слепыми, лишь кое-где, на круглых пятнах лиц тускло светились ненужные глаза. Из мешка на сцену вливался запах теплой сырости; иногда, среди жуткого молчания, был слышен кашель, шарканье, какой-то скрип.

Зал театра будил у меня странное сравнение с огромнейшей глубокой могилой, куда правильными рядами положили множество людей.

Жуткое чувство еще более усиливалось во время репетиции, когда черная пустота зала таращилась на полутемную сцену пустым, бездонным зевом. Смотрит

пустота, молчит и так странно, что пред нею люди шутят, смеются, кричат. Голоса кажутся неестественно громкими, все люди говорят нарочито не те слова, двигаются не обычно и машут руками, точно испуганные слепые в поисках за что бы схватиться.

Этот кошмар еще более углублялся бредовыми речами артистов; ходит по сцене длинный человек с лицом красивого мертвеца, с погасшей трубкой в зубах и, разводя руками, точно плавая в полумраке, бормочет:

— Маркиза, вы поставили меня на край пропасти — чего? Ага — стихи! Я знаю — мне спасенья нет...

Красивая чернобровая женщина, сидя на стуле у кулисы, сердито кричит:

— Послушай, я здесь бросаюсь к твоим ногам, а ты уходишь от меня! Где же Кин?

— Он кинулся в уборную зачем-то.

А около суфлерской будки стоит маленький человечек без глаз и бровей, с круглым ртом окуня, стоит и тихонько, грустно, приятным голосом напевает:

Я — страдала,
Страданула
С моста в речку
Сиганула.

Чернобровая женщина сердито кричит ему:

— Перестаньте выть! Дальше, дальше, господа!

Из-за кулис высовываются чьи-то головы, выходят люди, исчезают, за кулисами стучат молотки, вбивая гвозди в сухое дерево, и что-то противно скрипит.

Стоит среди сцены человек в пальто, в цилиндре, морщится, оттопыривая толстые губы, и кричит суфлеру очень красивым голосом:

— Чьто? Не слышу. Подавай громче! Чьто? Не рассуждать! Откуда тут дует, дьявол?

— Отовсюду дует, — справедливо говорит ему высокая красивая дама.

— Дудует, — презрительно повторил актер.

Другой человек, пьяный, испитой и отрепанный, сидит в сторонке на стуле, дремлет и время от времени, пугливо вздрагивая, спрашивает:

— Я? Как? О, господи, помилуй... О-о-фу...

Все это было мало понятно, порою нудно, но хотя все выдумывалось и создавалось при мне, на моих глазах, однако, иногда эта нарочитая, фальшивая жизнь охватывала меня до того сильно, что и я тоже начинал ходить по земле, выпячивая грудь, нелепыми шагами петуха, говорил басом, отчеканивая слова, и все потирал лоб, как это делал один из артистов.

Влюбленные виконты и маркизы, несчастный актер Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де-Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, купцы и Квазимодо, — все эти плохо сшитые кошели, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений.

Если хочешь спокойно наслаждаться, — не заглядывай за кулисы!

Но моя роль неизбежно заставляла меня торчать за кулисами, и я слышал, как герой, только что валявшийся у ног возлюбленной своей в судорогах пламенной страсти, кричал на нее за кулисами:

— Какого дьявола у тебя булавки натыканы, где не надо!

А благороднейший отец, только что оплакав на сцене свою несчастную дочь, шипел на нее, грозя пальцем:

— Ты опять роль не знаешь, дурында?

Улыбаясь, она говорит:

— Ой, ты так хорошо играл, что я все забыла...

— Не твое дело, как я играл!

Дурында — маленькая, стройная женщина, синеглазая, молчаливая. Она смотрит на все прищурясь и недоверчиво, как будто люди и вещи непонятны, чужды ей. И ходит она осторожно, точно кошка. Как-то раз я застал ее в темном углу за сценой; прижавшись к стене, закрыв лицо руками, она тихонько плакала. Дня за два до этих слез она так трогательно изобразила Эсмеральду, что я навеки влюбился в нее, и теперь, видя ее слезы, сам готов был гневно плакать или, если она прикажет, избить обидевших ее.

Но я не смею подойти к ней, смотрю издали и думаю: хорошо, если бы театр загорелся! Когда все побегут вон из него, — я схватил бы ее на руки и вынес сквозь огонь. Только бы вынести, а потом поклониться ей молча и так же великолепно, как это делал актер Киселевский, поклониться и уйти куда-нибудь, унося в сердце великую радость на всю жизнь.

В Успеньев день играли дважды — утром какую-то феерию, вечером шла «Каширская старина». Усталые артисты были пьяны, играли весело, — точно для самих себя, забыв о публике, а публика, невидимая в черном мешке, рычала и хохотала тоже как бы вне зависимости от сцены.

В антракте пьяненький Андреев-Бурлак, тощий и жалобно смешной в костюме дьяка, потешал плотников шутками и анекдотами и всех без разбора звал после спектакля на Пески, в трактир, есть пельмени. Дама моего сердца, наряженная в яркий сарафан и тоже пьяненькая, сидела на связке каких-то веревок, смеясь, напевая.

Я не заметил, кто дернул веревки, видел только, как она, испуганно взмахнув руками, опрокинулась на спину, видел высоко вскинутые ноги и огромные от испуга глаза. В следующий момент она, ловко повернувшись на бок, вскочила и гневно выругалась грязными словами улиц и площадей.

Дикий хохот гремел вокруг нее, люди выли зверьем от удовольствия, — она оглянулась и подскочив к маленькому актеру в костюме каширского парня ударила его по щеке. Ее схватили, смяли, унесли в уборную.

А у меня угрюмо заныло сердце, все вокруг стало противно мне, я решил уйти из театра и тотчас ушел».[1]

«Каширская старина» с участием приезжавшего в Нижний Андреева-Бурлака в ярмарочном нижегородском театре шла в августе 1882 года. Можно думать, что именно в это время — между службой у Сергеева

[1] Этот рассказ о службе своей в театре Горький предполагал включить отдельной главой в повесть «В людях», но потом отказался от этой мысли. Написан он в 1915 году. В 1926 году А. М. прислал его мне с исправлениями и припиской: «м. б. пригодится Вам для работы».

Часть его текста вошла еще в 1914 году в очерк «В театре и цирке» («Русское Слово», 1914 г., № 298).

и Салабановой — Горький первый раз испытывал себя на театре, он вернулся к нему и в следующий ярмарочный сезон.

Изображенный им здесь Андреев-Бурлак — ныне основательно забытый, а в свое время очень известный актер и чтец, яркий представитель провинциальной актерской богемы. Сам будучи литератором, он имел и широкие литературные знакомства, по сообщению С. А. Толстой он дал Толстому сюжет «Крейцеровой сонаты». Шумной известностью он пользовался в особенности в Поволжье, одним из наиболее популярных его чтений были «Записки сумасшедшего» Гоголя, он исполнял этот рассказ в сценической обстановке.

Несомненно, что Андреев-Бурлак обладал очень большим талантом. Горький рассказывает далее впечатление свое от его игры в роли Головлева в инсценировке романа Щедрина.

«Зрителем в театре я за это время был только однажды, и первый же спектакль заставил меня почувствовать страшную силу театральной жизни.

С минуты, когда на сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлева, я совершенно забыл о театре и обо всем, кроме маленького старичка в халате, со свечей в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на слюнявом лице.

— Анниньку, Анниньку, — сладострастно всхлипывал он пред измученной, умирающей женщиной.

Все, что делал этот человек, было страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно. Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий, терпкий голосок и эти гнилые улыбочки, весь он был до ужаса противен и казался непобедимым, точно Кащей Бессмертный.

Я пережил нечто неописуемое, хотелось бежать на сцену и убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства, а кругом люди смеялись, орали, возбуждая у меня страх и тяжкое недоумение. Разве можно смеяться, видя гнусного человека?

...После спектакля, отравленный, я всю ночь шлялся в лугах, за ярмаркой, меня остановил какой-то пьяный и больно ударил кулаком по голове, — помню это не обидело меня».

Это был тот спектакль, о котором в театральном обозрении «Нижегородского Биржевого Листка» 1 мая 1883 года сообщалось:

«В пятницу был дан первый спектакль под управлением г. Андреева-Бурлака; представлено было «Иудушка», комедия в 5 д., составленная из сатиры М. Е. Щедрина «Господа Головлевы».

В этой труппе, назвавшей себя «Московским драматическим товариществом», кроме самого Бурлака, среди других актеров были М. И. Писарев, Глама-Мещерская, Свободина и недавно умерший В. А. Гиляровский.

Была и еще одна, третья встреча Горького с Андреевым-Бурлаком. О ней А. М. писал мне в письме: «Встреча с Андр.-Бурлаком за несколько дней до его смерти. Где-то мною описана ночь, проведенная в кабаке с А.-Бурлаком, изумительная ночь, но — где, не помню».

И в другом письме: «Где описана встреча с Бурлаком? Не знаю. Рукопись была послана мною в Казань Гурию Плетневу, он тоже, вместе со мною, пропивал сапоги Бурлака».

Андреев-Бурлак умер в Казани 10 мая 1888 года и до конца остался верен своей бездомной жизни. В казанской газете «Волжский Вестник» была помещена такая заметка:

«Местная хроника. Аукцион имущества В. Н. Андреева-Бурлака. Вчера, 1-го июля, в здании съезда мировых судей производилась с аукционного торга продажа вещей после покойного артиста В. Н. Андреева-Бурлака. Вещи, оцененные всего в 9 р. 60 коп., состояли из носильного платья, принадлежностей гримировки и костюмов. Знаменитый белый халат, в котором покойный читал «Записки сумасшедшего», был продан за семьдесят одну копейку».

Через пять лет, в 1893 году, в Казани вспомнили об Андрееве-Бурлаке и о том, что могила его на Арском кладбище настолько запущена, что через некоторое время «может совсем затеряться между другими могилами». Был объявлен сбор пожертвований среди артистов казанской труппы. «Предложение было встречено очень несочувственно, даже со стороны драматических артистов; а оперные положительно отказались,

делая разграничение между оперою и драмою». Собрали всего один рубль. После этого была открыта подписка в конторе «Волжского Вестника» с обращением ко всей казанской публике, но пожертвований на этот предмет не поступило. [1]

Что же касается пьесы, с которой началось знакомство Горького с театром и рассказывая о которой он дал такую замечательную картину театрального быта в провинции, — сведения о ней появляются в объявлениях «Нижегородского Биржевого Листка» еще с 1878 года. Объявления эти были такого рода:

В большом каменном ярмарочном театре
артистами драматической труппы под управлением
П. М. Медведева
представлено будет

ХРИСТОФОР КОЛУМБ или ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

драма в 5 действиях, с прологом, в прозе и стихах, с хорами и танцами, соч. Листепе и Борре, перевод с французского А. Соколова (в новой обстановке) новая декорация «Корабль в океане», писана г. Паулино.

Такие пьесы на языке театральных профессионалов того времени назывались «обстановочными мелодрамами». В афишах о них антрепренерами анонсировались: танцы, игры, пляски, провалы, полеты, разрушения и превращения; обещались адские духи, разные чудовища и тени. Представляя собой некое подобие и театра, и цирка, и народного балагана, такие постановки были хорошей приманкой для публики попроще и давали иногда антрепренерам возможность поддерживать сборами с этих спектаклей более серьезный репертуар. «Играли мы много и все, — вспоминает В. Н. Давыдов о провинциальном периоде своего актерства. — И оперетку, и Островского, и водевили, и обстановочные мелодрамы, вроде «Две сиротки», «Хижина дяди Тома», «Христофор Колумб». [2]

Упоминаемый здесь П. М. Медведев, видный театральный деятель прошлого века, был в те годы казанским антрепренером и выезжал на антрепризу в Нижний на время ярмарки. Медведев был одним из первых театральных работников, насаждавших в провинции элементы настоящей режиссуры, а также одним из первых организаторов русской провинциальной оперы. Как антрепренер он был очень талантлив, он выдвинул на провинциальной сцене таких знаменитых впоследствии актеров, как Давыдов, Савина, Варламов, Стрепетова, Писарев и др. В драме «Христофор Колумб», в частности, вместе с самим Медведевым играл в Нижнем и молодой еще тогда В. Н. Давыдов. [1]

Такие «драмы» по своим массовым сценам требовали, вероятно, большого количества статистов, потому что набирались таковые прямо с улицы. Сигалев, знакомый Горького тех лет, писал ему впоследствии: «...Вспоминается мне прием кунавинских мальчишек в театре. Видел раза два, как Андрюшка-толстый (Баранов) плакал горькими слезами, когда его отставили от работы за его толстое брюхо».

[1] «Волжский Вестник», 1888 г., № 165; 1893 г., № 148 и др.
[2] В. Н. Давыдов, Рассказы о прошлом, 1933 г., стр. 334.

14. ПОГРОМ В НИЖНЕМ

(К стр. 62)

Еврейские погромы в 80-х годах начались на юге России, где было наибольшее скопление безработного люмпена, которым полиции и удавалось пользоваться как своим орудием. Гнилая зараза этого гнусного дела распространялась быстро и на другие области. Свидетелем еврейского погрома в Нижнем-Новгороде был Горький, еще в бытность свою в этом городе до переезда в Казань, когда он работал у подрядчика строительных работ Сергеева. Описание события дано Горьким в рассказе «Погром», не вошедшем в собрание его сочинений. Приводим отрывки из него (в неизданной редакции):

«Это было в Нижнем-Новгороде, в заречной слободе Кунавино. Был жаркий день июня месяца. Я с утра

[1] В воспоминаниях В. Н. Давыдова, несмотря на подробный перечень его театральных работ, нет указаний на работу его с труппой Медведева в Нижнем, но по объявлениям «Нижегородского Биржевого Листка» это устанавливается точно.

работал на берегу Оки, осмаливая дощаник, и уже время подвигалось близко к полудню, когда где-то в слободе, сзади меня, раздался глухой, сердитый шум, как будто заревели в раздражении голодные быки. Я тоже был голоден, хотел скорее кончить работу и сначала не обращал внимания на этот отдаленный гул, а он с каждой секундой все разрастался, как дым в начале пожара.

Я посмотрел в сторону слободы, — в горячем воздухе над нею выросло мутное облако пыли, вой и треск поднимались от земли вместе с ним. Пыль становилась все гуще, шум громче и разнообразнее, — ясно, в слободе началось что-то необыкновенное.

Бросив работу, я поднялся на песчаный берег и увидал: из ворот домов выскакивали люди, бежали вдоль по улице, в глубь слободы, за ними бежали собаки и дети, испуганные голуби носились над их головами, а под ногами метались куры. Охваченный общим смятением, я тоже бросился бежать.

— На Елизаветинской дерутся! — крикнул кто-то.

Навстречу бегущим, яростно нахлестывая лошадь возжами, по немощеной улице мчался ломовик и орал во всю силу груди:

— Наших бьют! Крючники!..

Я повернул в узкий проулок и остановился. Толпа людей забила проулок своими телами так плотно, что он был похож на мешок, полный зерна. Впереди, где-то далеко еще, раздавался рев и визг людей, звенели стекла, бухали тяжкие удары, что-то трещало, звуки покрывали друг друга, как облака осенью, и уже плыли по воздуху тяжелой тучей.

— Жидов бьют! — с удовольствием в голосе сказал старичок, благообразный и чистенький. Он крепко потер маленькие, сухие ручки и добавил: — Так их и надо!

Я пробивался вперед на шум, повинуясь его возбуждающей, притягательной силе. Не одного меня, он, этот страшный шум, всех привлекал к себе, он всасывал, как трясина. Лица людей, мелькавшие предо мною, все были возбуждены, все глаза сверкали жадно, вся толпа сплошной, тяжелой массой двигалась вперед, готовая опрокинуть стены и заборы, каждый готов был бросить под ноги себе переднего, итти по его телу, давить его.

Я — на двор одного из домов переулка, перескочил через забор на другой двор, еще раз, еще и — вот я снова в толпе людей. Они наполняли собой густо застроенный двор большого каменного дома, облепленного пристройками, и точно кипели на тесном дворе, земля под ними содрогалась. Как бесноватые, они орали что-то подняв головы кверху, лица их были красны, в открытых ртах сверкали зубы, они взмахивали руками и толкали друг друга, лезли на крыши служб, обрывались, падали и снова лезли. И, несмотря на разнообразие движений каждого человека, во всех их было что-то общее, человек стал членом одного огромного тела, одушевленного одной и той же силой.

Высоко над этой плотной массой людей, на крыше дома, у трубы стоял худой и длинный еврей. Он отрывал пальцами кирпичи трубы и, швыряя их вниз, что-то кричал голосом резким, точно крик речной чайки. Большая и седая борода трепетала на его груди, а белые штаны на нем были покрыты красными пятнами...

К нему наверх летели яростные крики:

— Из ружья его!

— Тащи ружье!

— Камнями лупи!

— Лезь к нему!

Рыжий, седоватый крючник, старательно сматывая длинную веревку с крюком на конце, ловко, как матрос чалку, бросал ее на крышу, стараясь зацепить еврея крюком. Не удавалось, крючник матерно ругался, а из толпы кричали ему:

— Дядя, дай попробую! Давай я его сдерну! Эх, опять мимо...

В окнах дома мелькали темные фигуры людей, выбивая рамы и выбрасывая на двор вещи. Взвизгивали и дребезжали стекла. Вот широкоплечий, кудрявый парень поднес к окну зеркало, высунул его и закричал:

— Эй, берегись!

И, отражая солнечные лучи, зеркало полетело на землю. Парень высунулся из окна вслед за ним. Его

широкое лицо было только озабочено и серьезно, но не озлоблено. В другом окне явился чернобородый мужик с подушкой в руках. Он рванул ее, — и в воздухе рассеялось густое, белое облако перьев.

— Снег пошел, носов не отморозь, ребята! — крикнул мужик, глядя, как белые пушинки опускаются на головы людей.

А на дворе орали:

— Сюда! В кадке жиденят нашел!

— Бей их!

— Башками о стенки!

— Эй, старый жид! Слезай, внуков нашли...

— Лезь с крыши, а то убьем племя...

Пронзительный крик ребенка огласил воздух, в мутном реве толпы он сверкнул ослепительно, как молния в облаках. И шум после него стал как бы тише.

— Не тронь! — заревел кто-то.

— Не тронь ребят!

— Больших бей!

Тут вновь раздался крик ребенка, — тонкий и острый, он резал сердце и оглушал более всех звуков.

— Ах, дьявол! — бешено заорал кто-то, покрывая все звуки.

— По башке?

— Ногу отшиб...

— Ловко, старый чорт!

— Антип! Лезем жида сшибать!

Двое огромных крючников, расталкивая толпу, подошли к пристройке и полезли на крышу, обещая:

— Сейчас мы его сбросим!

А в одном из окон дома снова явился серьезный, краснорожий парень. Напрягаясь, он просовывал в окно какой-то шкаф или ящик и кричал вниз:

— Робя, держи посуду...

Ящик не проходил в окно, тогда парень дернул его назад, к себе, на минуту скрылся, вновь стал в окне и завыл протяжно, как волк:

— Бе-ерги-и-ись!

Груда тарелок посыпалась из окна, за ними солнцем мелькнул в воздухе самовар. Люди внизу разбегались и прикрывая головы руками, хохотали во все горло.

Толстый парень схватил самовар с земли, поднял его высоко над головой, снова бросил на землю и стал деловито топтать его ногами.

На крыше раздался нечеловеческий вопль. Все подняли головы кверху. Железо громыхало. Вдруг, на краю крыши появилось что-то большое, оно несколько секунд провисело, содрогаясь в воздухе, потом завизжало, завыло, оторвалось и полетело вниз. Раздался мягкий противный шлепок...

— Зацепил...

— Ага-а...

— Сшибли-и-и!

На улице люди ломали стулья, столы, разбивали сундуки, со смехом рвали какие-то одежды. В воздухе носились перья, из окон двух домов вниз, к ногам людей, летели подушки, корзины, мебель, тряпье, а толпа, обезумевшая в стремлении разрушать, хватала эти вещи и рвала, ломала, била. Две женщины, растрепанные, потные, с красными рожами, цепко ухватились руками за какой-то ящик и тянули его в разные стороны. Они кричали что-то друг другу, перья и пушинки крутились вокруг их голов, они обе широко открывали рты, но голоса их заглушал треск дерева, вой и рев толпы, и визгливые, полные ужаса крики, доносившиеся из окон дома.

. . . . . .

— Казаки!

— Беги наши!

— Казаки едут!

В устье проулка являются морды лошадей, синие фуражки казаков, мелькают нагайки, и чей-то громкий, певучий голос командует:

— Р-рысью — ма-а-рш!

...Толпа бежит под ударами нагаек и толчками лошадей, как стадо баранов, глупо, слепо. Можно спрятаться во дворах, можно прыгать через заборы, но все бегут куда-то вдоль проулка, подставляя головы, спины и плечи под хлесткие удары. Здоровенный, кудрявый крючник вдруг оборачивается, с размаха бьет кулаком по морде лошади и исчезает в тесной толпе казаков. И над тем местом, где он исчез, долго мелькают нагайки, рассекая воздух, казаки едут дальше,

стремя к стремени, плотной стеной, а люди перед ними бегут врассыпную, толкая друг друга.

— Валяй кирпичами казаков! — кричит кто-то сверху.

Под ноги лошадей бросается женщина, полуголая, в крови. Она явилась откуда-то вдруг, точно из земли выпрыгнула, она хватается за ногу переднего казака и жмется к ней с воем...

— Беги-и!

— Стой!

— Бей кирпичами казаков!

Толпа ревет и — бежит неудержимо, как ручей с горы. Глухой топот ног стоит в воздухе, звон подков о камни вторит ему. Лошадям трудно двигаться среди обломков мебели и тряпья, покрывающих мостовую. Лошади встают на дыбы. Толпа тоже останавливается, обернувшись лицом к казакам...

— Спешиться!

Толпа рычит и ждет. Но и в тылу у нее, в конце улицы, является полиция и пешие казаки... Тогда люди начинают прыгать через заборы, вбегают во дворы, а казаки ловят их... За несколько минут перед этим люди были зверями, без жалости и смысла избивавшими таких же несчастных, как сами они, а теперь эти звери — только трусы, их тоже бьют без жалости и смысла...»

Этот рассказ Горького удалось документировать. Найденные мной газетные сообщения точно устанавливают дату и этого эпизода «внутренней политики»: 7 июня 1884 года. Завязка трагического события, по сообщениям «Нижегородского Биржевого Листка», ближе других газет стоявшего к месту происшествий, представляется такой:

Дочь крестьянки Федосьи Рогожиной, проживавшей в Кунавине, в доме Трунова, находясь без присмотра матери, вышла на улицу и завязла в грязи у дома Бабушкина. В этом доме помещалась еврейская молельня, хотя жили в нем не только евреи. Хватясь дочери, Рогожина пошла искать ее на улице и увидела ее на руках двух еврейских девочек 7 и 10 лет. Игравшие на улице еврейские дети, заметив завязшую в грязи девочку, вытащили ее оттуда и передали матери. Взяв от

них ребенка, Рогожина пошла в Макарьевскую часть заявить полиции о похищении евреями ее дочери.

«О девочке говорилось несколько иначе, — писал мне А. М. — Собирая щепу на стройке, она упала, разбила себе лицо, — вероятно, нос, — заплакала еврейка повела ее во двор мыть, а бабы, тоже собиравшие щепки, подняли шум».

Когда к дому Трунова прибыл помощник пристава Любимов, то, по сообщению «Нижегородского Биржевого Листка», «уже начал скопляться народ около еврейской молельни, где проживали те девочки, от которых было взято дитя». Убеждения помощника пристава разойтись «были безуспешны», «даже и по прибытии частного пристава с усиленною командою полицейских чинов, по словам «Листка», уговорить толпу было невозможно».

Даже по этим сведениям, которые «Нижегородский Биржевой Листок» получал, несомненно, из полиции, видно, что и здесь повторилась обычная картина полицейского бездействия. Шесть домов было разгромлено до того, как прибыла воинская часть. «Во всех домах толпа уничтожала все, что ей попадало на глаза: разбивала двери, окна, выбрасывала из них вещи, причем убито шесть человек — четверо мужчин, одна женщина и один мальчик; сильно ранены пять человек, которые были отправлены в земскую больницу; из них там умерли четыре человека, пятый же выздоравливает. Число менее пострадавших пока не приведено в известность».

Антисемитизм самого «Нижегородского Биржевого Листка» не подлежал сомнению, хотя это не мешало ему после погрома благородно негодовать на «эту сволочь, накопившуюся в Нижнем, как подонки из разных мест для работы на пристанях». Среду, использованную для погрома, эта газета на своем классовом языке указывает точно.[1]

В октябре 1884 года в Нижнем-Новгороде слушалось дело о 72 участниках погрома. Слушалось оно «при закрытых дверях», хотя, казалось бы, какие могли быть тайны в деле о побоище, происходившем на глазах населения.

---

[1] «Нижегородский Биржевой Листок», 1884 г., №№ 135, 138, 140.

В начале 1885 года вернувшийся из якутской ссылки В. Г. Короленко поселился в Нижнем-Новгороде, но не успел еще обжиться на новом месте, как снова попал в тюрьму. «Тюрьма была полна, — вспоминал впоследствии Короленко. — Недавно здесь в ярмарку разразились антиеврейские беспорядки, было несколько убитых. Это был результат новой антиеврейской «политики», закончившейся уже в наши дни «делом Бейлиса».[1]

Незадолго до этого Короленко в канцелярии Петербургского градоначальника был свидетелем того, как какие-то евреи ходатайствовали, чтобы им было разрешено остаться на несколько дней в Петербурге. «Градоначальник резко возражал, причем я слышал: «Нар-род эксплоатировать!» [2]

Из этого эпизода видно, что и полиция охотно становилась при обосновании антисемитизма в позицию защитницы «нар-рода» против эксплоатации. Но характерно, что такой идеей удалось одурачить и широкие слои либерального общества. Так, по поводу нижегородского погрома «Русские Ведомости», не просто уважаемая либеральная газета, а газета, можно сказать, чтимая и академической, и земской, и всякой другой интеллигенцией, в передовой статье от 17 июня 1884 года писала: «Что же касается «счетов с евреями», то утверждать, что их совсем не могло быть, также было бы слишком смело: возможно, что у некоторых и были, а другие знали о них понаслышке; если же их не было с пострадавшими евреями, то ведь и на юге России погром настигал вовсе не главных эксплоататоров...» «Русским Ведомостям» казалось, что, доказывая наличие в погроме моментов озлобления против эксплоатации, они тем самым защищают «прогрессивную» точку зрения и в то же время снимают клевету с революционеров как якобы организаторов и вдохновителей погрома. Такого рода клеветническую версию усердно поддерживал ряд реакционных газет, на эту тему с откровенным цинизмом писал «Свет»: «Крючники послужили только орудием темных сил, стремящихся везде и всюду посеять смуту, старающихся восстановить повсеместно всех и вся против существующего строя, капитала и собственности». Однако это все же была весьма топорная работа, время требовало более тонких политических орудий. На потребу этого уже явилось «Новое Время», отклики которого на погром 7 июня являются образцом гораздо более сложных услуг: газета соглашается, конечно, что погром — «позорнейшее действие, оскорбляющее образ божий, носимый человеком», но указывает, что погром «связывается с существующим народным предположением, будто бы евреям, время от времени, нужна кровь христианских детей, — предположением странным, загадочным, не доказанным, но и не опровергнутым»; газета смиренно соглашается с тем, что надо законодательным путем регулировать еврейский вопрос, но думает, что «против стихийной силы» «никакой государственный ум не в силах изобрести средство»; впрочем, ее, конечно, интересует, «какие законоположения лучше всего способны оградить»... — кого бы и от чего? — «коренное русское население от серьезных поводов к предубеждениям и ненависти против евреев». [1] Орган Суворина был к тому времени уже в полной «форме», чтобы начать свою работу отравления трупным ядом политического хамелеонства и грязнейшей клеветы. [2]

[1] В. Г. Короленко, История моего современника, книга третья, «Academia», Л. 1931 г., стр. 643.

[2] Там же, стр. 639.

15. ДОРИМЕДОНТ ПОКРОВСКИЙ

(К стр. 63)

«Общество улучшения народного труда», эта затея, придуманная правящими кругами для смягчения последствий кризиса, включало в свою программу и организацию также народных чтений с охранительной пропагандой.

[1] «Русские Ведомости», 1884 г., № 166; «Свет», 1884 г., № 226; «Новое Время», 1884 г., №№ 2977, 2979, 2982.

[2] Свободное обсуждение причин еврейских погромов было, конечно, невозможно; но любопытно, что «Отечественным Запискам» удалось поместить повесть И. Ясинского на злободневную тему: исправник прячет христианскую девочку в канун еврейской пасхи и тем вызывает погром («Болотный цветок». «Отечественные Записки», 1883 г., №№ 11, 12).

Попытки устройства такого рода «чтений» были и в Нижнем-Новгороде, причем «Нижегородский Биржевой Листок» довольно точно указывал политическое назначение этого предприятия — «борьба с деморализацией низших слоев общества» и «искоренение гибельной разнузданности нравов».[1] Чтобы дать понятие об этих чтениях, можно указать, что одним из первых лекторов был приглашен священник Доримедонт Покровский, владелец дома на Звездинке и сосед Сергеевых, тот самый, с которым читатель знаком по повести «В людях», к которому Горький в первый год своей жизни у Сергеевых явился на исповедь.

«Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

— Чего?

— Запрещенных книжек не читал ли?

— Нет, никаких...

— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!»[2]

Этот доброхотный шпион в рясе был, видимо, «на хорошем счету» у начальства, да и сам умел искусно рассчитанными приемами делать себе известность. «Нижегородский Биржевой Листок» сохранил нам такой эпизод:

«В Нижнем-Новгороде, с некоторого времени, в церкви при Мининской богадельне происходит нечто напоминающее времена Минина. Со всех концов города, даже из некоторых сел, вносятся каждодневно узлы и узелки с теплою одеждою и обувью — и другим носильным платьем в пользу буквально нагих черногорцев, и из этих приношений образуются тяжеловесные тюки... Считаем долгом объяснить это явление: при церкви Мининской богадельни священником состоит о. Доримедонт Васильевич Покровский, который, читая в разных газетах о бедственном положении наших братий на Востоке, в каждый праздничный день делал свои безыскусственные воззвания к предстоящим во храме о помощи восточным страдальцам необходимой одеждой. Но видя, что речи его находят слишком слабый отголосок в слушателях, он решился примером своим показать, как надо жертвовать: 23 октября он по окончании литургии прочитал слушателям целиком воззвание г. Васильчикова, уполномоченного в Черногорском обществе Красного Креста, и Черногорского митрополита Илариона, — воззвание о крайне бедственном положении черногорцев, лишенных, даже при деньгах, возможности купить себе необходимую одежду; к этому воззванию прибавил несколько слов от себя, в которых выразил ту мысль, что, вероятно, слушатели не понимают, что можно жертвовать, и что он желает это показать собственным примером. Потом, не сходя с кафедры, он разоблачился, снял с себя рясу и приказал, кому следует, положить ее на кружку Красного Креста. С этого-то времени начались приношения теплого и холодного платья, обуви и проч. и не более, как в два дня скопилось этих приношений 48 пудов, которые и отосланы в Цетинье на имя г. Васильчикова».[1]

[1] «Нижегородский Биржевой Листок», 1883 г., № 292.
[2] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 65.

16. В КАЗАНИ

(К стр. 70)

Горький в примечаниях к материалам журнала «Былое» и в других аналогичных заметках годом своего переезда в Казань считает 1885 год. К 1885 году он относит и еврейский погром в Нижнем, свидетелем коего он был. Николай Евреинов, тот студент, который внушил ему мысль о Казани, в своих воспоминаниях относит переезд к 1886 году. А жандармские документы относят даже к апрелю 1887 года.[2]

Все это однако неверно. Эти даты противоречили бы автобиографическим материалам воспоминаний Горького. Анализ этих материалов приводит к следующему.

В повести «Мои университеты» упоминается сенсационное происшествие в Казани, обсуждаемое собиравшимися у Деренкова студентами: «Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная

[1] «Нижегородский Биржевой Листок», 1877 г., № 122.
[2] «Былое», 1921 г., № 16, стр. 184; «Журнал для всех», 1929 г., № 1; «Красный Архив», 1936 г., № 5, стр. 25.

замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам, в подвал, доносятся возбужденные голоса, резкие слова». [1]

Речь здесь идет, несомненно, о самоубийстве дочери казанского чаеторговца Латышева в январе 1885 года; об этом происшествии много писали местные газеты «Волжский Вестник» и «Казанский Биржевой Листок». Вероятнее, что обсуждение этой драмы Горький слышал не в пекарне Деренкова, а в его же бакалейной лавочке, куда Горький стал вхож вскоре же по приезде в Казань, работа же его в пекарне Деренкова относится к 1887 году. Конечно, разговоры о Латышевой могли повторяться и позднее, но передача первых впечатлений — «весь город взволнован» и т. д. заставляет думать, что зиму 1884—1885 года он жил уже в Казани и, следовательно, переехал туда в конце лета или осенью 1884 года, шестнадцати лет.

Другой довод за правильность этой даты возникает в связи с событием того же января 1885 года, — Морозовской стачкой. В письме ко мне по поводу ее А. М. сообщает: «Мне кажется, что слух о ней привез из Нижнего Виктор Пругавин — был такой «исследователь сектантства», брат Александра Степановича Пругавина». Следовательно, о стачке Горький узнал уже будучи в Казани.

17. В МАРУСОВКЕ

(К стр. 72)

По приезде в Казань Горький жил две недели в семье знакомого по Нижнему студента Евреинова. Но семья эта сама жила впроголодь, на нищенскую пенсию, и Горький с утра выходил на поиски работы, а в дождь отсиживался на пустыре, в подвале полуразрушенного здания, — «очень памятен мне этот подвал, — писал Горький, — один из моих университетов». Затем начались скитания по казанским трущобам. «Ходил работать на Устье, — писал мне А. М., — грузил, пилил дрова, не редко ночевал на «Стеклянном» и в Задней Мокрой — где теперь вокзал». Случайное знакомство с бедняком-гимназистом Гурием Плетневым оказало ему огромную моральную поддержку. Узнав, как трудно и опасно жить Горькому, он предложил ему поселиться вместе. «И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его: голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя». Плетнев жил в коридоре под лестницей, ведущей на чердак. Там стояла его койка, на которой он и Горький спали по очереди. Один — ночами, другой — днем. Плетнев работал ночным корректором газеты «Волжский Вестник», зарабатывая одиннадцать копеек в ночь. «Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста «Красное Домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни, — мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне». [1] Вот пример стихов «Красного Домино», поэта, который читался по утрам в «веселой» трущобе Марусовке:

Старины святой обычай
Соблюдая твердо, свято —
Мы в день первого апреля
Надуваем друга, брата...
Как во всем — противу предков
Мы и в этом преуспели:
Надувая, мы имеем
Преднамеренные цели.
Так, за куш, приличный делу,
Лгут нередко адвокаты;
«Равновесье» соблюдая,
Лгут друг другу дипломаты;

[1] М. Горький, Собр. соч., том VIII, стр. 42.

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVIII, стр. 15, 16.

Надувает для наживы
Коммерсант, хозяев — слуги,
Благоверных, не стесняясь,
Надувают въявь супруги...
Лгут «пассивы» и «активы»,
Лгут газетные рекламы,
Лгут бюджеты и отчеты,
Надувают телеграммы;
Лгут ораторы с трибуны,
Лжет защита, ...
Расписанья пароходов,
Лгут — куда ни кинешь взоры!
Словом: день традиционный
Мы торжественно почтили,
Так, что в *первое апреля* —
Круглый год мы обратили!

Хотя цензура и допустила мысль о всеобщем лганье, но досягнуть в этом смысле до прокурора она все же не позволила.

В поисках постоянного заработка и своего места в жизни Горький испытывал возможности самых различных профессий. Он готовился в сельские учителя, но не был допущен и к экзамену. Служил садовником и дворником, — злополучный конец этой его службы рассказан им в воспоминаниях о Л. Толстом. Осенью 1885 года он является на пробу голосов в хор Казанской оперы, к директору оперы А. Орлову-Соколовскому, служба эта по каким-то причинам также оказалась кратковременной. С этим эпизодом связан известный рассказ о том, что в ту же пору хотел поступить в хор к Орлову-Соколовскому и Шаляпин, но не был принят. В свое время, в связи с сообщениями о встречах Горького с Шаляпиным в Нижнем в начале 900-х годов, рассказ этот как курьез обошел всю печать, хотя неудача Шаляпина объяснялась просто: у него в то время «ломался» голос, дискант переходил в «низы». И хотя Горький познакомился с Шаляпиным только в 1900 году в Нижнем, когда тот приезжал на ярмарочные гастроли, но на основе этого эпизода появилась целая апокрифическая литература об их встречах в молодости, трущобных похождениях, встречах на сцене и т. д.

18. БИБЛИОТЕКА ДЕРЕНКОВА

(К стр. 102)

Об этой библиотеке, а также о хранителе ее, хозяине бакалейной лавочки, А. С. Деренкове, сохранился рассказ, записанный по воспоминаниям М. Федотова, офицера стоявшего в Казани Ревельского полка и участника революционных кружков, впоследствии за участие в революционном движении сосланного в Сибирь на поселение: «Для учащейся молодежи он был поистине другом и всегда оказывал ей всяческую помощь. Квартира Андрея была своего рода клубом для радикальной молодежи. Сюда сходились, чтобы обменяться мыслями по вопросам момента, поделиться впечатлениями о прочитанных книгах, поговорить о последних новостях из общественной и учебной жизни, а иногда и по конспиративным делам... В квартире Андрея находилась и небольшая библиотека изъятых книг и журналов, собранная понемногу в течение нескольких лет молодежью. Поэтому сюда приходили также и для получения нужной книги и для обмена взятой уже на другую. В отношении умственной пищи довольствоваться приходилось только старыми книгами и журналами, так как новых книг радикального направления цензура не пропускала. А так как старых книг было очень мало и доставать их было очень трудно, то молодежь постоянно ощущала книжный голод. Несмотря на бережное обращение с этими старыми книгами, они в конце концов, побывав у множества усердных читателей, которые зачастую не только читали, но и штудировали их подолгу, приходили в крайнюю ветхость. Множество раз приходилось переплетать и подклеивать их самодельным переплетчикам из этих же читателей, а когда отдельные листки уже совершенно распадались, то их полностью или частично переписывали от руки, и переписанные страницы вместе с уцелевшими снова переплетались и подклеивались». Основное, так сказать, политическое ядро этой библиотеки составляли публицистические статьи старых журналов. Горький вспоминает, что в ней «были подобраны и переплетены журнальные статьи по каждому вопросу; хорошо помню, что в сборнике «Положение женщины» вместе со

статьями Ткачева, Шашкова и других авторов была и статья архиепископа Хрисанфа». «Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, — таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-Голод», «Хитрая механика», — все эти рукописи были очень зачитаны, измяты». [1]

Скромная личность А. С. Деренкова, владельца этой библиотеки, а затем и хозяина булочной, организованной в помощь революционно-настроенной учащейся молодежи, человека, подвергавшего себя риску огромных неприятностей и в конце концов разоренного материально и бежавшего от кредиторов в Сибирь, упоминается и у других мемуаристов, но в «Моих университетах» он изображен со свойственным Горькому высоким мастерством характеристики. Связи между Горьким и Деренковым не порывались и впоследствии. Получив от Горького его первые книги, он писал ему о своем впечатлении: «Особенно понравился мне рассказ «Бывшие люди», может быть потому, что описываются знакомые места и частью знакомые люди». И уже в глубокой старости, на семьдесят пятом году жизни, в 1933 году, он сохранял тот же интерес к литературе и живой действительности, когда с далеких судженских копей из Сибири писал: «Дорогой Алексей Максимович... не откажи, пошли сочинения новых писателей».

19. ИСТОРИЯ БУЛОЧНИКА СЕМЕНОВА

(К стр. 112)

В конце своей службы у Семенова Горький работал уже не в крендельной, а в другой части пекарни, в булочной, «подручным» пекаря, пекарем же одно время был Коновалов, о котором Горький написал впоследствии свой известный рассказ. Коновалов был из тех рабочих, что, несмотря на жестокие условия быта и труда, сохраняли душевную мягкость и мечтательность, но вследствие своей эмоциональной неуравновешенности

[1] «Былое», 1925 г., № 4 (32), стр. 210; М. Горький, О литературе, 1933 г., стр. 230; Собр. соч., том XVIII, стр. 25; из неизд. материалов.

легко сходили в босяки. Впрочем, конец его жизни, — самоубийство в тюрьме во время пересылки его этапным порядком за бродяжничество, — оказался исторически-неверным. В одном из писем Горький вносит поправку в рассказ. «В Муроме повесился не тот Коновалов, о котором я писал, а, как оказывается, однофамилец его; меня ввела в заблуждение газетная заметка и тот факт, что мой друг А. В. Коновалов был уроженец Мурома. Друг же мой умер в 1902 году — спустя шесть лет после того, как я напечатал рассказ. Умер он в Одессе. Врач, лечивший его, сказал ему однажды, что есть рассказ о пекаре Коновалове, и коротко передал содержание рассказа. Коновалова это очень взволновало. Он тотчас решил, что рассказ написан мною — Лешей Грохало; это было мое прозвище в ту пору. Он попросил доктора Лундберга написать мне о том, что он, Коновалов, еще жив, но — умирает. Доктор и написал мне о нем». [1]

Другой конец постиг хозяина пекарни. В повести «Хозяин» Горький рассказывает о том, как «лет через десять» после своей жизни в Казани он прочел в тюрьме корреспонденцию из этого города: «В страстную субботу наш город был свидетелем довольно любопытного зрелища: по улицам разъезжал, обливаясь слезами, известный в торговом мире булочник и крендельщик Василий Семенович Семенов, он ездил по домам своих кредиторов, рыдая убеждал их, что совершенно разорен, и просил немедля посадить его в тюрьму. Зная блестящее состояние его дел, никто не поверил ему; к его настоятельному желанию провести день Великого праздника непременно в тюрьме — отнеслись со смехом, — чудачества этого своеобразного человека были всем известны. Но каково было горестное изумление торгового мира, когда через несколько дней оказалось, что Семенов без вести пропал, оставив за собою долгов около пятидесяти тысяч рублей и продав все, что только можно было продать! Злостный характер этого банкротства — несомненен». [2]

[1] Письмо Максима Горького ученикам Ленинградской 52 совшколы. «Новая Вечерняя Газета», 1926 г., № 15.

[2] М. Горький, Собр. соч., том XII, стр. 231.

В периоде «лет через десять» после казанской жизни Горький был арестован в 1898 и в 1901 годах. Идя по следам этих указаний, я разыскал в «Волжском Вестнике» в отделе хроники такое сообщение: «На первый день Пасхи, около 10 часов утра, из своей квартиры (на Рыбнорядской улице), отправился на легковом извозчике известный казанским обывателям булочник-кондитер В. С. Семенов и до сих пор домой не возвращался. Несмотря на тщательные розыски, не удалось узнать ни об его местопребывании и ни о том, что могло с ним случиться. При исчезновении Семенова выяснилось, что долгов у него разным лицам и учреждениям на сумму около 40.000 рублей, а исчезновению предшествовали следующие обстоятельства. В конце страстной недели всю выручку от торговли Семенов употреблял на расплату с некоторыми кредиторами, всего 2.800 рублей, а в первый день Пасхи некоторые из его хороших знакомых видели его сидящим с сильно наклоненною головою на легковом извозчике и горько плачущим». [1]

Следует отметить, что не один Семенов в это время претерпевал горестные изменения в своей судьбе. Так же внезапно, как он, скрылся другой казанский хлеботорговец, купец Я. И. Звездин; сам подал заявление о несостоятельности купец Д. М. Максимов; прекратил платежи В. П. Крысин и т. д. «Нижегородские Губернские Ведомости» писали 25 апреля 1901 года: «Сильно обострившиеся в последнее время коммерческие затруднения в Казани повели к учащению случаев «безвестной отлучки» коммерсантов». Все эти случаи были глухим отголоском в Казани экономического кризиса тех лет.

Несомненно, что Семенов более хитро и более удачно ликвидировал свои дела в Казани, чем его собратья по беде. Случайное обстоятельство сохранило нам сведения о его дальнейшей истории. Одна из трех жен его, взятая им при бегстве его из Казани, писала Горькому в 1929 году:

«Судьба не привела свидеться с вами, но все же я

[1] «Волжский Вестник», 1901 г., № 81, 11 апреля. Первый день Пасхи в этом году приходился на 1 апреля.

вас помню так это живо, как сейчас, когда вы жили у нас в Казани на Рыбнорядской улице и как вы были у нас сушечником в булочной-сушечной и кондитерской Семенова, мужа моего. Мы с мужем бросили сразу все дела в Казани и переехали в Тифлис. А тут тоже открыли пекарню, дела шли хорошо, но в скорости соседи убили моего мужа, и я осталась одна. И с тех пор служу в нянях, вот уж больше двадцати лет что ли, по чужим домам, состарилась очень. На старости лет выучилась по-печатному читать и между прочим прочла ваш рассказ «Хозяин». Это все в точности как у нас было, я огорчалась только, что мой муж такой жестокий получился, но все же правда и это. Так мне хотелось вас увидать, когда вы сюда приезжали. И даже в газете обещались устроить это свидание, и про меня напечатано было и с собственным портретом...»

20. СПОР О КАЗАНСКИХ ДЕЛАХ И ЛЮДЯХ

(К стр. 114)

По поводу склонности мемуаристов преувеличивать революционное значение и численность народнических кружков в Казани А. М. писал мне: «Многочисленность» кружков для меня звучит, как преувеличение. За время 85—87 я знал, вероятно, все кружки. Организаторами кружков были: Березин, Миловский, Кудрявцев, Попов. Эти четыре кружка — ортодоксально-народнические, с обязательным, как Евангелие, чтением «Исторических писем» Лаврова-Миртова, статей Михайловского «Герои и толпа», «Вольница и подвижники», изучением крестьянской общины, промысловых артелей и т. д. Мальчикам, которые достаточно покушали доморощенной премудрости, давали, в качестве десерта, «Царь-Голод» А. Н. Баха. Члены кружков в большинстве: гимназисты, реалисты, студенты первого курса. Затем — кружок Сомова, менее ортодоксальный, с упором на естественные науки: Евангелие — «Рефлексы головного мозга» Сеченова, но читался — так же обязательно — должно быть сокращенный перевод — Карлейль «Герои и героическое» по рукописи».

Интересно, что идеализаторы народнических кружков и корпорации студенчества долгое время выражали свое несогласие с Горьким. Один из них, бывший студент духовной академии, знакомый Горького по Казани того времени, писал ему еще в 1929 году, объясняя недооценку Горьким народнических кружков в «Моих университетах» тем, что с кружков его «больше тянуло в Татарскую слободу или на разгрузку потерпевшей аварию баржи, где дело кончалось тремя ведрами водки». Вместе с этим бывший студент духовной академии чрезвычайно сердито и придирчиво разбирал автобиографическую повесть Горького, обвинял его в недооценке народника Миловского-Елеонского и прочих «ошибках».

Нужно удивляться тому, как А. М. терпеливо отвечал и на такие письма.

«Тон Вашего письма несколько удивил меня, — отвечал А. М. — Мы оба — старики, оба немало поработали и, думаю, обязаны относиться друг к другу сдержанно, даже и тогда, если разно мыслим.

Отвечаю на Ваши замечания. На ошибку, вернее — описку — Смит-Милль мне указывали неоднократно, она будет исправлена. Но я способен и впредь повторить эту описку, это, право же, не от невежества моего, а, скорее, от фонетики.

Не понимаю, почему Вам кажется, что эпитет «мудрые» в приложении к знаменитым «примечаниям» Чернышевского знаменует мое невежество или, «что еще хуже», иронию. Ведь «Примечания»-то действительно мудрые.

Вы совершенно правы, говоря, что из кружков меня «тянуло на выгрузку барж», в кружках было скучновато, а на живой работе с людями — интересно. Однако — не потому, что «дело кончалось тремя ведрами водки», — водку я не любил. Но заработать на хлеб надо было. В «кружках» не кормили.

Миловского-Елеонского я знал, как студента «Учительского института», в Духовной же академии — не встречал, не помню его. Помню Вас, братьев Лупповых, японца Пантелеймона Сато, Кравцева, Жерехова и др... Каюсь: Миловский, как литератор, казался мне очень скучным, а как человек — неприятным, тяжелым. Он

постоянно, в письмах и устно, жаловался на людей, особенно — на жену свою, угрожал самоубийством, боялся начальства, и хотя был не даровит, но отличался самомнением. Забытого Неверовского, который писал талантливее его, не признавал, так же как Потапенко и Гусева».

Среди других «замечаний» корреспондент Горького нашел нужным поместить и возражение одному из персонажей повести «Мои университеты». Он оспорил рассказ Терезы Боруто о выходках его коллег в публичных домах Казани: [1]

«Самый же непонятный народ — это обязательно студенты академии, да! — Этот отзыв Терезы Боруто, экономки одного из «домов утешения» — оставляю всецело на ее ответственности... Меня не удивляет то, что вы не поняли описанного ею пьяного инцидента. Но как она не поняла этого пьяного коленца? Как она не поняла, что это делалось не только с согласия, но даже и по инициативе девиц, — и что в этом сказывается своего рода спорт!..»

«Ваше указание на «инициативу» девиц, — отвечал Горький, — очень рассмешило меня. Девиц я знал хорошо, будучи одним из членов «Кружка помощи проституткам», — был и такой кружок. Того, что девицы рассказывали мне и др. членам кружка о «спорте», как вы пишете, они не могли выдумать. Одной из любимых форм этого «спорта» была такая: в зале пол натирался мылом, нагая девица становилась руками и ногами на четыре тарелки, и в этой позе студенты Духовной академии, будущие епископы и пастыри душ, совокуплялись с девицей на пари, выигрывал тот, кто скорее других оканчивал акт. Выдумать этакое «действо» могли только люди, знакомые с биографией папы Александра Борджиа».

Пересылая мне письмо сердитого корреспондента, А. М. сообщил: «Студентом он был мрачным, но говорил — тенорком, это казалось мне не «гармоничным» и вызывало у меня антипатию к нему. Мрачный человек обязан говорить густым басом, — так думал я в ту пору».

---

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVIII, стр. 32.

21. 12 ДЕКАБРЯ 1887 ГОДА

(К стр. 123)

Доктор В. Н. Золотницкий, разыскавший в казанской земской больнице «скорбный лист» и опубликовавший его в «Прожекторе», благодаря чему стала известной документальная «история болезни», поместил в этом журнале и портрет «профессора Н. И. Студенского, делавшего операцию М. Горькому».[1] Но дело в том, что профессор Студенский не имел никакого отношения к произведенной операции. «Оперировал меня ассистент Студенского Плюшков, — писал мне А. М., — сразу же, как только меня привезли. А Студенский пришел дня через три с учениками и обращался со мной весьма, скажем, неосторожно. Он, судя по статье Некрасовой в «Отеч. Записках» 79—80 гг., вообще был жесток».

И через несколько лет, в другом письме ко мне, по аналогичному поводу А. М. снова подтверждал: «Пулю вырезал мне из под кожи спины ординатор Плюшков, тотчас же как только меня привезли в больницу. Студенский явился на третий день с группой студентов, обошелся со мной очень грубо, и сказал, что я — к «утру буду готов», — что-то в этом роде. Оскорбленный его отношением, я выпил хлорал-гидрат, большую склянку, стоявшую на столике около койки, после чего мне, кажется, промывали желудок. О личности Студенского и его поведении на фронте русско-турецкой войны в «Отечеств. Записках» 80 или 81 г. была статья врача Некрасовой».

В рассказе «Случай из жизни Макара» в художественных образах изображены люди и обстановка вокруг события 12 декабря 1887 года. Изображен и оператор Плюшков — «человек с веселым и приятным лицом», и посещение профессора Студенского и новая попытка самоубийства Макара.

«...Он услышал над собою зловещий шопот:

— Профессор Студенский, ш-ш...

У койки встал человек с опухшим лицом, он приказал:

[1] «Прожектор», 1926 г., № 5. «Материалы к биографии Максима Горького (А. М. Пешкова)».

— Снять перевязку!

Он не понравился Макару. Люди в белых халатах обнажили грудь Макара, профессор, тыкая в нее холодным и тяжелым пальцем, стал громко говорить:

— Здесь мы видим совершенно правильную картину...

Макар слушал и злился — профессор говорил не то, не верно.

— Дня через три он должен умереть...

— А я — не умру! — сказал Макар.

— Что?

— Вы врете...

— Закройте его, сиделка...

Они все пошли прочь, тогда Макар схватил со столика драхмовую бутылку хлорал-гидрата и начал жадно пить из нее, на него бросились, вырвали бутылку, облили лицо, он бился и кричал:

— А что, а что? Ага-а...»[1]

В «Отечественных Записках» 1878 года, как и в других изданиях того времени, были помещены извлечения из писем умершей на фронте студентки-медички В. С. Некрасовой. Эти документы обвиняли хирурга Студенского в циничном отношении к работавшим на фронте женщинам, стремлении использовать свое служебное положение для достижения своих целей и пр. В газете «Неделя» Студенский поместил «Ответ на письма студентки Некрасовой», в котором, обращаясь «к здравому смыслу умеющей логично думать публики», пытался «разобрать вопрос с теоретической точки зрения». Он утверждал, что мужчины могут испытывать влечение и к красивым и к некрасивым женщинам. Но если в первом случае «может случиться, что поступками мужчины будет руководить только страсть, которая, разумеется, может выразиться более или менее энергично», то во втором случае, по утверждению Студенского, душевные качества женщины, вызвавшие влечение к ней, внушат такое уважение, что «попытка удовлетворить этому влечению не проявится без ведома и согласия женщины». А так как студентка Некрасова, по мнению Студенского, была некрасива, то тем самым

[1] М. Горький, Собр. соч., том XII, стр. 114.

он отклонял взведенное на него обвинение. После этого «Отечественные Записки» еще раз и энергично разоблачили с новыми материалами изворотливого «теоретика». [1]

Кем оказался «цеховой», которого он привычным для себя образом охамил, профессор не узнал, — он умер в 1891 году. Но оказалось, что не узнал того же и ординатор Плюшков, изображенный в рассказе Горького хотя и эпизодически, но в ряду самых обаятельных образов своего прошлого.

В 1937 году я получил письмо от сына Плюшкова. А. И. Плюшков сообщает, что письмо его вызвано «тем естественным волнением, которое я испытал недавно при чтении Вашего биографического очерка о жизни и деятельности М. Горького. В этом биографическом очерке, описывая молодые годы Алексея Максимовича, Вы остановились на одном факте, касающемся моего отца, — факте, который до этого ни мне, ни матери моей не был известен. Вы сообщаете, что после покушения Горького на самоубийство положение его было определено как безнадежное, однако операция, сделанная ординатором больницы Плюшковым, настолько изменила положение, что через месяц после ранения он мог уже снова работать. Этот ординатор больницы Плюшков — мой отец — врач (а впоследствии доктор медицины) Иван Петрович Плюшков, работавший как раз в те годы в Казани, в больнице, умерший в 1899 г. и не знавший до смерти своей о том, что он спас жизнь великого писателя...»

В очерке Н. Я. Быховского, из которого приводилась мной характеристика нелегальной библиотеки и который составлен на основе воспоминаний одного из участников казанских кружков, имеются не лишенные интереса подробности о том, как дошло до булочной известие о ранении Горького, причем дается попытка и психологического объяснения этого события. Нужно иметь, однако, в виду апокрифичность многих утверждений этих воспоминаний, например, фантастическое сообщение, что булочная была организована революционными кружками, для того чтобы поставить Горького в ней хозяином и тем самым дать ему средства к жизни.

[1] «Неделя», 1878 г., №№ 19, 23; «Отечественные Записки», 1878 г., №№ 5, 7, 9.

«Хотя он и не делился своими затаенными мыслями и чувствами с окружающими, — рассказывается о Горьком, — но все же многие и особенно женская половина посетителей собраний, происходивших в квартире при булочной, заметили это, но не знали причины этих тяжелых переживаний. Временами же душевное состояние его становилось настолько тяжелым, что это заметно было уже для всех окружающих. Однако, большого значения окружающие этому не придавали, предполагая, что это лишь временное, преходящее настроение. Кое-кто догадывался, что причиной этого были не только муки сомнений, грызшие тогда сердце молодого Пешкова, но и неудовлетворенное чувство любви.

Однажды зимой в квартире при булочной происходило обычное шумное собрание революционной молодежи. Шла какая-то жаркая дискуссия по одному из вопросов, волновавших тогда молодежь. Пешкова на этом собрании не было. Он куда-то ушел. Но здесь это было в порядке вещей, так как зачастую собрания происходили в отсутствие хозяина булочной, который или приходил попозже или иногда и вовсе не приходил, будучи чем-нибудь занят. Вдруг, в самый разгар споров, когда страсти уж сильно разгорелись и каждый старался переспорить своего противника, в булочную ворвался околоточный надзиратель и начал кричать: «Кто здесь хозяин?» Публика чрезвычайно переполошилась, потому что хозяина-то и не было дома, хотя квартира при булочной была полна народу. Для объяснений с околоточным пришлось выйти Пьянкову, так как он был постоянным жильцом здесь и к тому же из всех находившихся здесь в этот момент он один был в курсе всех дел булочной. Пьянков заявил околоточному, что хозяин булочной вышел и скоро вернется. Несмотря на то, что Пьянков был в студенческой тужурке, это не обратило внимания полицейского стража. Околоточный потребовал, чтобы Пьянков пошел за ним, что последнему и пришлось исполнить. Оставшиеся же в квартире ждали дальнейших результатов. То обстоя-

тельство, что околоточный явился один и не поинтересовался даже находившимися в квартире, указывало на отсутствие в этом неожиданном посещении «политической» подоплеки. И действительно, через довольно короткое время явился Пьянков и к величайшему изумлению собравшихся здесь сообщил им, что Пешков стрелял в себя на улице и прострелил себе бок. Так как многие уже знали его, как работавшего в булочной против театрального садика, то явившемуся на место происшествия околоточному кто-то и указал местожительство раненого. Поэтому-то околоточный и явился в булочную... Некоторое время это событие служило главной темой разговоров среди радикальной и революционной молодежи Казани, имевшей связи с булочной и ее постоянными посетителями. Недели через две, однако, Алексей Максимович неожиданно возвратился из больницы домой, несмотря на то, что, по мнению пользовавших его врачей, ему надо было пробыть там еще не мало времени, чтобы вполне залечить нанесенную себе рану. Свой столь поспешный уход из больницы он мотивировал тем, что ему «надоело там лежать». Не желая волновать его, знакомые его и друзья не только не расспрашивали его о причинах, побудивших его решиться на этот шаг, но даже вообще старались не разговаривать об этом. Не говорил об этом и сам пострадавший. Существовали, однако, предположения, что причиной этого была неудачная любовь к сестре лавочника Андрея, которая отдала свое сердце другому — одному из членов кружка, в котором она участвовала. Долгое время еще потом Алексей Максимович ходил на перевязку, так как нанесенная им себе рана заживала довольно медленно».[1]

Нужно сказать, что эти воспоминания вызвали такой отзыв А. М. в письме ко мне: «Читая о себе, я уж плохо соображаю: что верно и что не верно? Не редко испытываешь такое впечатление от воспоминаний о Пешкове, как будто оный Пешков шестипалый человек и «вспоминают» не о нем в целом его виде, а лишь о шестом его пальце».

[1] «Былое», 1925 г., № 4 (32). «Булочник Алексей Максимович Пешков и казанская революционная молодежь конца 80-х годов», стр. 215—216.

22. СКИТАНИЯ РОМАСЯ

(К стр. 156)

В «Моих университетах» и в ряде других источников мы встречаемся с уверенностью Горького в том, что после Красновидовского разгрома Ромась поехал в Вятскую губернию на новое «поселение» среди крестьян. Однако сохранившиеся письма Ромася к В. Г. Короленко не подтверждают этого. Вероятно Ромасю не удалось организовать новое пропагандистское «поселение» вследствие полного отсутствия средств. Более того: разорение лавки наложило, видимо, на него новые долги, и сам он мечется в поисках возможности хоть как-нибудь устроить свою жизнь.

24 сентября 1888 года он пишет В. Г. Короленко из Казани:

«Вы советуете мне обратиться к Началову. Дело вот в чем. Я обращаюсь ко всем и выходит чудно, каждый посылает к другому, либо просит придти завтра, или говорит, еслибы раньше, все в этом роде. Словом, говоря языком евангелия, вместо рыбы дают змею и вместо хлеба суют камень. Хотя раньше, когда я говорил о будущем, мне предлагали всякие содействия. Видите в чем дело, на мне лежит много долгу, который меня давит, вы этого состояния не понимаете, потому что ваше положение и мое две вещи разные. Вы с определенным положением, а я?

Вот уже сколько лет прошло, я никак не мог избавиться от гнета. Да еще навалил на себя вдвое против того, что было. Я говорю с вами как с другом, который при некоторых случаях пожалеет как и следует другу, но не обидится. И конечно при просьбе хлеба его подаст, но не другое. Я с удовольствием бы уехал как можно подальше отсюда. Благодарю вас за гостеприимство. Я и так знаю, что если-бы приткнуться было негде, то к вам бы я поехал как домой.

Но не в этом дело, а в чем вы сами знаете. Впрочем, лучше всего так если ничего нельзя, то вы сразу сообразите и ответьте, тогда буду стучать усиленно в другие двери».

Через полгода, 4 марта 1889 года он пишет из Екатеринодара:

«Как хочете, а старайтесь меня пристроить. Ибо мои дела совсем дрянь, заехал я далеко, а толку нет, думал попробовать не обращаясь ни к кому самостоятельно, да ничего не вышло и теперь как рак на мели. Как я сюды попал я вам как нибудь напишу, теперь не до того. Теперь главным образом прошу вас посодействуйте мне еще раз и больше уже я вас не буду беспокоить. Только доставьте мне возможность расквитаться с долгами. Я не хочу этим сказать, чтобы разыскали мне место с хорошим жалованием, нет, мне все равно. На первый раз хотяб было чем кормиться, лишь бы только мне усесться где, а уж там я извернусь на месте сидя, поразузнаю что и как и дела мои пойдут в ход. Мои попытки пристроиться без посторонней помощи разлетелись прахом, вот почему я решился опять надоедать вам. Простите пожалуйста, только еще этот раз окажите содействие и затем я потихоньку расплачусь с вами, лишь бы мне где зацепиться, а то ведь я вишу между небом и землею и так уж дрянно, но еще не унываю...»

В это время Короленко безуспешно хлопочет через Евг. Чирикова о том, чтобы пристроить Ромася на службу Грязе-Царицынской ж. д., где Горький получил место ночного сторожа. Но в следующем году Ромася уже снова носит по стране, как перекати-поле. 20 мая 1892 года он пишет:

«Дорогой Владимир Галактионыч. Я вам писал из Иркутска. Не знаю дошло ли письмо. Ежели будете отвечать, сообщите адрес Илариона Галакт., он кажется служит и я хочу поэксплоатировать, может он дослужил до того, что может повлиять на кого нибудь дающего занятия. Я перепробовал много и хотя по старости и проч. на многое не годен, но опыт и энергия еще имеются, физические силы отходят. Тютчев заверял меня в том, что я приехавши в эти края встречу товарищеские отношения, а не звериные, вышло почти последнее, иначе я не метался бы из стороны в другую».

Вслед за этим Ромась оказывается в Воронеже. Никакого отражения в письмах следов его конспиративной деятельности, разумеется, нет, но мы знаем, что

Воронеж был одним из пунктов организации партии «Народного Права». Через два года, в апреле 1894 года, Ромась арестован в Смоленске вместе с подпольной типографией народоправцев.

Снова 8 страшных лет тюрьмы и далекой Якутской ссылки.

Только в 1902 году возобновляется переписка между ним и Короленко. «Еще в предварилке, — пишет Ромась, вспоминая годы разлуки, — читал Ваше Без языка, помню что очень завидовал человеку, могущему передвигаться даже до Америки. Я мог только на 6½ шагов и на три в ширину. Зависть появилась потому, что перед этим я был близок к пропаданию, 11 месяцев со дня или через неделю после начала недвигательного положения я по злости прекратил всякий разговор и послушание и все время более 11 месяцев пребывания в петровом детище не сказал ни одного слова, в результате галюцинации и цынга повременам и теперь дает себя знать. Когда оправился, прочел Без языка. Ваши, прежде присланные мне книжки, погибли в пламени при окончании моей торгашеской карьеры, свидетелем того, как пламя пожирало вместе с продуктами творчества художественного, воблу, керосин и мой черный сюртук, был Горький. Он тогда был моим прикащиком без жалования».

На огромном пространстве страны отыскалось место и для Ромася после его возвращения к воле: место кладовщика в г. Седлеце, на строящейся железной дороге.

«Меня поместил сюда Блек бухгалтер, — сообщает Ромась, — но очевидно другие желают выпроводить и принимают соответственные меры. Возможно, что в скорости буду перечислен за штат. Нравы собачие, со всех концов скалят зубы и даже такую мизерную кость, какую гложет кладовщик, желают вырвать».

И вскоре Ромась сообщает:

«Я все в безработных. Скверно быть безработным. Хорошо бы окаменеть! Как Лотиха с дочерью».

Нарастающий подъем в стране снова бередит революционный пыл Ромася, но он одинок, без связей, обременен семьей.

«Сижу я около кормежки своих ребятишек, но по-временам зудят руки и как старому волку мерещится лес, может и убегу в него. Хотя маленькие ручки держат очень крепко».

И снова он на работе в г. Лида в звериной обстановке хищников и прохвостов:

«Я служу при постройке ж. д., на этой службе день прошел и слава богу, а на другой к чорту! Кругом воруют, я только посмеялся над приемами обмана казны и мужичков, а мешать и не думал: да такая мелочь как я не может помешать этому, а за мое веселое отношение к серьезным обычаям меня сочли бунтовщиком, составили протокол, в котором помещены вымышленные мои деяния, с протоколом поступили и бумаги в управление, от жан. чина. О том, что я вреден безусловно и чтобы меня в двадцать четыре секунды долой. Кажется пока дело отложено до нового протокола и тогда в двадцать четыре терции сжить, и я не буду строить дороги. Первый протокол составлявшим обошелся четверть ведра монопольки, после того я слышал угрозу, что и бутылки достаточно, ибо руки не подаю и не делаю проч.»

В этом же письме, по поводу окружающей его звериной обстановки, Ромась с большой лаконической силой вспоминает о своих переживаниях в крепости:

«Имею пустячное количество знакомых, да лучше не иметь бы! После Кишинева в особенности после Гомеля[1] этот народ очень страдает, с ним происходит то, что с нашим братом происходит перед неизбежным арестом. Пожалуй даже и не то, а я их понимаю только тогда, когда представляю свое психическое *состояние в крепости*. Мне казалось, что две продольные стены должны меня проглотить. Одна казалась мне гигантской мордой крепостного коменданта с плотно сжатыми губами, а другая казалась мордой другого чина с приподнимающейся верхней губой, уже были видны зубы. Одно время я не мог спать, все смотрел на эти морды и все ожидал, что одна из них должна меня проглотить, в этом я был уверен так, что

[1] Речь идет о новой волне еврейских погромов. *И. Г.*

иногда не ложился спать, а стоял у короткой стены рассуждая, что в бок морде трудно будет сразу проглотить».

Ромася выжили, конечно, и с этого места, где он не подавал руки. В том же году он оказался уже в Севастополе на службе в городской больнице и писал Короленко:

«Вам известно, что я в Севастополе, получил вами присланные деньги и только намеревался начать копить помаленьку, чтобы хотя часть выплатить долгов, как был изгнан со службы за излишнюю заботливость об имуществе города. Четыре месяца занят розысками занятий, скверное положение, все связи потеряны, товарищи где то, где не найду. А без подмоги товарищей и без протекции нельзя даже коню хвоста завязать.

Может напишете мне. А может быть прослышите, где бы можно было достать службу. Не буду я больше особенно заботиться об чужом имуществе, пусть его разворовуют. Мои дети настойчиво требуют подкармливания. А ежели я пропаду могут ли поместить к вам хоть одного мальчугана? Моему старшему пять лет. На всякий случай я разыскиваю для хлопцев своих приют, у меня их три».

И снова тяга на революционную работу:

«Как там у вас, — пишет Ромась из Чернигова, — у меня руки зудят, да вот детишки кругом, хотя ожесточение иногда не поддается кроткому взгляду младенцев. Как поживает ваша семья? Скверно устроен человек, ему бы в горести нужно иметь более плотное общение, а в радости и без оного людно».

А в страшный 1907 год, когда реакция обнажила свой звериный оскал, во времена повального испуга и ренегатства, Ромась пишет с тоской:

«Я постоянно чувствую, что стою за спинами отвернувшихся людей, в таких случаях заметен может быть только необычайно крикнувший или выкинувший какую нибудь громкую штуку, для этого нужен тоже талант, без таланта и крик не выйдет».

И снова отчаянные поиски работы:

«Получил на днях два письма, одно из Саратова от Степы, хотел меня пристроить, но не удалось,

другое из Нижнего. Хотел меня пристроить, но самого посадили в сидку. По счету уже получил 11 отказов».

Революционное имя Ромася закрывает ему все пути к пропитанию себя и семьи. В октябре 1907 года он пишет из Мелитополя:

«Отовсюду отказы с прибавлением соболезнования и без прибавления. Моя жена мечется по всем земствам, но начальство проявляя заботу о целости устоев не позволяет добывать кормежку. Для очистки совести я покушался ходить на поденщину работать, да в 50 лет не охотно берут, кроме того ноги отказываются служить. Не знаете ли вы адреса Блека, я разыскиваю его, хотя мало питаю надежды, ибо давно уже на нем показывалась свиная щетина. Все таки лучше пропадать стоя, чем лежа, и потому брезгливость нужно отбросить. Когда обращался за мелкими займами, то испытывал унижение жестокое. Но по безвыходности выдерживал. Четверо пискливых человечков, слепая старуха мать и больная жена — обстановка сносная, только когда корм можно доставать, но при других условиях часто появляется желание головой об стену».

А какой испуг охватил обывателя — показывает такой изумительный по подлости случай, рассказанный Ромасем все тем же эпическим, несокрушимо-спокойным тоном:

«Дорогой Владимир Галактионыч! Я писал вам из Мелитополя. Вскоре после того моя жена послала в 25 земских управ прошение о службе фельдшерицей. На ее запросы первая ответила бахмутская у. зем. управа. Бумага была написана в определенных выражениях, уп. приглашала на службу требовала документы и просила назначить время приезда. Все это мы проделали, приехали в Бахмут, с большим трудом добрались. Жена отправилась в управу, секрет. упр. объявил ей об ее напрасном приезде, несмотря на бумагу в руках жены находящуюся за подписью пред. уп. Жена после недельной ловли поймала председателя и этот почтенный обществ. деятель глядя жене прямо в глаза объявил, что ее управа не приглашала и бумаги ей в этом роде не посылала, а то, что она ему показывает, не бумага, а пустяки. Этот шулер своим решительным заявлением так нас смутил, что пришлось показать эту бумагу многим лицам и все в один голос подтвердили, что в бумаге категорическое приглашение о приезде и занятии места фельдшерицей есть, и никуда эти слова не убежали, а пред. уверяет что это пустяки. Вакантное место фельд. есть, но уп. не желает теперь замещать и ради того прибегает даже к мошенничеству, управа отличается тем, что департамент г. пол. считает слишком либеральным и мало деятельным и потому стоит над всякими моралями, тем не менее мы теперь вполне похожи на раков на мели, мои мальчуганы как мелкие рачки тоскливо ползают кругом. Не можете ли вы через кого нибудь узнать о службе фельдш. акушерки...

Может быть что-либо выйдет...» [1]

Но до того, как «что-либо вышло», Ромась в третий раз был арестован всё за то же — за революционную пропаганду.

23. ЕЩЕ О МАШЕ ДЕРЕНКОВОЙ

(К стр. 161)

Сохранилось письмо и самой М. С. Деренковой к одному из своих знакомых в Москве: «Очень очень благодарна за Ваше мнение обо мне. Вы правы я осталась верна своей идее, и по всей вероятности умру, себя не буду коверкать ни перед чем и ни перед кем, я одиночка, ни перед чем не стою и не шкурница, ничего не боюсь... Я служу 31 год и служу не как профессионалка, а как человек ищущий правды, которую желаю воплотить в жизнь... Была у меня 17 июля Мария Сандовт и рассказала, что Горький написал в Правде статью, где укоряет людей, что они не соответствуют своему назначению, прежде всего они профессионалы, нет у них инициативы к общественной жизни, поэтому убита вся энергия, нужно быть Героем, чтобы жизнь была полная и интересная. Это совершенная правда...»

[1] Письма Ромася находятся в архиве В. Г. Короленко. За предоставление их приношу благодарность Наталье Владимировне Короленко.

24. КАК ГОРЬКИЙ СТАЛ СТАНЦИОННЫМ СТОРОЖЕМ

(К стр. 170)

Некто Веди-Аз поместил в 1903 году в газете «Бакинские Известия» статью: «Из воспоминаний о Максиме Горьком».

«Это было 13—14 лет тому назад.

Тогда он был еще не М. Горьким, а просто Алексеем Максимовичем Пешковым, или просто Максимычем или Алешей...

Наша контора находилась в г. Борисоглебске Тамб. губ. при управлении грязе-царицынской ж. дор.

Это была контора «товаро-станционного отдела».

Начальником этого отдела — был некто г. А. — подвижная, организаторская натура, не любившая затхлости конторской, не терпевшая всякого рода мошенничеств и плутней.

Он решил — по тем или другим причинам — подобрать получше сослуживцев и осветить железнодорожные порядки подбором людей... Дело было новое. Таким образом — нужны были люди свежие, честные и, по мнению этого начальника, лучше если совершенно незнакомые с железнодорожною рутиною...

«Бродячий» и нуждающийся в работе элемент нашей матушки России — как-то замечательно быстро узнавал относительно «свободных» мест — и даже без предварительной справки — имеются ли «вакансии» — «валом валил»...

Тоже повторилось и с нашею конторою...

Быстро штаты, наиболее подходящие для разночинцев-интеллигентов, были заполнены.

Осенью, почти пред началом закрытия Волги, к нам явился из Казани Пешков А. М.

Выглядел он здоровым, сильным парнем 19—20 лет.

Познакомились, разговорились...

Оказалось, что он тоже насчет места приехал.

— Да нет больше ни одной вакансии...

— Ну, уж вы там как хотите... мне хоть какое-нибудь... найдется!..

Пришлось обращаться к начальнику.

— М. Е... Еще один приехал...

— Кто один? Зачем приехал, почему приехал?

— На счет места...

— Места, места!.. А где я вам возьму его? Из пальца высосу?..

М. Е. (начальник) кипятился, сердился, нервничал (он был очень нервный), говорил о нелепости таких приездов без предварительного уведомления и пр.

— Ну — куда, куда я могу его поместить? Управляющий я, начальник движения? Вы ведь знаете, что у нас должно быть даже сокращение штатов...

Я молча слушал или поддакивал, в полной уверенности, что все же М. Е. поместит Пешкова.

— Да кто он такой? Откуда? приведите хоть посмотреть, что это за монструм, летящий на зиму глядя на какое-то фантастическое место...

Пешков был представлен.

М. Е. — опять закипятился...

— Ну, куда я вас помещу? Ну, скажите!

— Это ваше дело, — флегматично и безучастно ответил Пешков.

— В конторе можете работать?

— Нет, не могу...

— Так куда же, куда?

— Я не знаю...

— У меня ведь только контора, весовщики и сторожа... Вот и все мое царство... Что же, в сторожа что-ли вас?..

— Ну так что же, хоть и в сторожа, я пойду...

— Вы это серьезно?

— Конечно серьезно.

— Это будет временно, не больше месяца... Затем я вас переведу в весовщики.

— Ладно, что же и это хорошо...

Было решено послать Пешкова ночным сторожем на одну из станций, если не ошибаюсь, в Добринку...

Оказалось, что у Пешкова, теперь ночного сторожа, не было ничего из теплого платья и обуви.

Подходила зима, да ночи и без того были уже холодные.

Через день-два — А. М. должен был выехать к месту службы, а ехать в его довольно подозрительном в смысле теплоты платье — не было возможно.

Нужно было устроить «аванс».

Опять к М. Е.

Так и так — мол...

— Ну вот! дай место, теперь аванс, обуй его, одень... Что это за народ к нам едет? — добродушно ворчал М. Е.

— Хорошо, выпишите ему жалованье.

— Да вот что... я напишу письмо к начальнику станции, чтобы он его не тово... не обижал...

А то знаете — наши начальники-то какие... Сторож не велика птица... Все же мое письмо-то поможет ему!..

Письмо было написано с просьбою обратить на Пешкова внимание и не смотреть на него как на «настоящего» сторожа, что ему в скорости предстоит повышение и пр.

Все было готово.

Алексей Максимович рассказал — между прочим, как он ехал из Казани. — Билет до Царицына у него был, кажется, бесплатный; а на кормежку что-то очень мало — к. 20 или около этого.

Словом, «питаться» на эти деньги 3—4 дня было «немного» трудно...

— Что делать?.. — говорил А. М., — начал я бродить по пароходу, «товарища» подыскивать...

Высматривал, высматривал, все шантрапа какая-то... Но вот на мое счастье — увидел я монаха... Ну, думаю, это особь статья...

Отец честной... человек обстоятельный и к едеву приверженный... Надо атаковать...

Подсел я к нему. То се, то се, на счет всяких мирских и монастырских дел, на счет писания... Словом познакомились...

Священное писание — я когда-то читал и много помнил, значит и для него собеседник подходящий. Время чай пить...

Ну, раздумываю я, пригласит или нет. Коли нет, надо другого искать... Заказал мой монашек чайку и пригласил...

— И возликовал я духом велиим... (Пешков не редко прибегал к церковно-славянскому языку, и более или менее хорошее знакомство его с этим языком — отражается иногда в его сочинениях.)

Теперь я уверен был, что доеду без голодовки... За чаем закусочки пошли из его, честного отца, сумочек. Хороший, добрый монах, что говорить!..

Затем — я так и был его нахлебником — и великолепно доехал до Царицына...

Много ли человеку надо и мало ли людей на земле!..» [1]

Воспоминания о жизни Горького и о встречах с ним стали появляться очень рано, с 1900 года, в самом начале славы писателя. Способствовала тому необычная биография его, и в результате мы имеем очень большое количество мемуарных документов, в том числе много — сомнительной достоверности. А. М. в редких случаях печатно опровергал достоверность воспоминаний, и в большинстве случаев такого рода воспоминания печатались и перепечатывались при его жизни без помехи. Но бывало, что по какому-нибудь случайному поводу в переписке он указывал на вздорность того или иного факта воспоминаний — и так, что это ставило иногда под сомнение достоверность всего документа. Приходилось запрашивать его и по своей инициативе. Но далеко не во всех случаях это удалось сделать, не было случая проверить и воспоминания Веди-Аза.

По одной из ранних заметок Горького я сделал заключение, что он после Каспия, Моздока и Жигулей побывал в Казани, где и установил возможность получения службы на железной дороге. Однако А. М. в письме ко мне точно указал потом: «С Каспия не возвращался в Казань, а — в Царицын, откуда Началов, Мих. Яковлевич направил меня сторожем на ст. Добринка, Грязе-Царицынской ж. д.».

Таким образом эпизод в пути из Казани в Царицын подлежит сомнению. Нужно сказать однако, что в сцене приема на службу есть детали, указывающие на то, что автор воспоминаний был несомненным очевидцем.

За два года до появления воспоминаний Веди-Аза были напечатаны воспоминания на ту же тему некоего Безобидного. [2] Написанные в фельетонной манере, они

[1] «Бакинские Известия», 1903 г., № 186.

[2] «Самарская Газета», 1901 г., № 30.

подробно дают сцену приема Горького на службу ночным сторожем, сообщают о том, как составился «совет» в товарном отделе для решения этого вопроса, и другие такого же рода детали, словно участники заранее знали, что имеют дело с будущей знаменитостью.

Против сцены приема на службу в фельетоне Безобидного А. М. написал: «Это чепуха!»

25. ПИСЬМО СОСЛУЖИВЦА

(К стр. 173)

Дорогой и многоуважаемый товарищ
Алексей Максимович!

Вы, конечно, не знаете меня, я скажу проще: не помните моей фамилии, а было время, когда мы с Вами сидели в одной комнате, мирно беседовали когда-то... Вы пели под мою игру на гитаре, или наоборот. Вы знали когда-то и жену мою (тогда еще невесту) с нею и разговаривали и даже плясали... Вспомните Вашу жизнь и деятельность в Добринке. Начальником станции был в то время Архангельский Павел Павлович, а я — Ваш ровесник, служил тогда телеграфистом на ст. Добринка. Жили мы с Вами в одном доме, против станции. В том же доме жила и постоянная собеседница Ваша, учительница Марья Александровна, и старший весовщик Яков Петрович Случинский (мой тесть), а Вы служили в качестве сторожа товарного отдела. Мой тесть и моя теща Марья Михайловна давно уже умерли, и жена моя Варвара Яковлевна тоже умерла. Остался на свете я один, и наслушавшись о Вас и о Вашей деятельности, я решил побеспокоить Вас этим письмом. Может быть Вы вспомните и Добринку и меня лично, — ныне тоже 63 летнего старика...[1]

«Вчера послал Вам письмо телеграфиста ст. Добринка, — писал мне А. М., — письмо это свидетельствует, что я — лицо действительно существовавшее, а не выдуманное М. Горьким, как утверждает И. А. Бунин».

Шутливая приписка эта вызвана появлением в эмигрантской печати изумительной по злобе статьи Бунина, утверждавшего, что слава Горького создана исключительно характером его биографии, которая, как добавлял Бунин, «никому в точности неведома».

[1] Автор письма А. В. Сластушенский называет начальником ст. Добринка Архангельского Павла Павловича — в рассказе Горького «Сторож» он изображен под именем Африкана Петровского.

26. ЧТЕНИЯ НА ДОБРИНКЕ

(К стр. 181)

В письме к другому сослуживцу, своему непосредственному товарищу по работе, сторожу на ст. Добринка И. В. Черногорову, Горький исправляет ошибку памяти. Одновременно это письмо свидетельствует и о том, что чтения были не только на Крутой, но и на Добринке.

«Здравствуйте, Иван Васильевич, старый товарищ!

Я очень хорошо помню Вас. Красивый вы были тогда парень, сильный. Но не веселый, задумчивый такой и часто жаловались, что жить скучно. Предлагали вам я и сцепщик (забыл его мудреную фамилию) учиться грамоте, но это дело не пошло. Вы сказали что-то вроде того, что-де «и без грамоты тошно». А все-таки, когда мы читали книги под пятым фонарем у пакгауза, вы слушали внимательно. Помню случай с кулем подсолнуха. Дело прошлое: я мог бы отнять куль, но казачата пристыдили меня: дескать, «ты не собака чужое добро стеречь и за пустяк людей к жандарму тащить». Я отдал им куль — только бы убирались скорее.

Все помню: и беседы наши в час смены и как сцепщик обличал в воровстве начальника станции... Только одну шутку сыграла со мной память: я вас перенес из Добринки на Крутую Волжско-Донской ветки. Это часто бывает, что я перемещаю людей произвольно, как бы вставляя их в ту обстановку, которая кажется мне наиболее подходящей их характерам».

27. НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

(К стр. 202)

В своих воспоминаниях «Время Короленко» Горький писал:

«Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня...» Однако ряд сопоставлений заставляет прийти к выводу, что его путешествие из Царицына в Нижний совершилось несколько раньше. По воспоминаниям М. З. Басаргиной, дочери нач. ст. Крутая, Горький уехал с Крутой 14 апреля 1889 года.[1] Но есть основание отнести его путешествие на север к еще более раннему времени весны. Так, по справкам жандармских управлений, Горький уже в конце апреля был в Нижнем, а в конце мая выезжал в Казань. «Алексей Пешков в последних числах мая месяца текущего года был на весьма короткое время в г. Казани, но с какою целью сюда приезжал и где квартировал — не представилось возможности выяснить...»[2] Это донесение подтверждается документом совершенно другого порядка. В 1917 году один из корреспондентов Горького, булочник Силантьев, писал ему из Читы: «Вспомните булочную бывшую Деренкова на углу Красной и Федоровского переулка в Казани... я там работал вместе с Вами и когда Вы приехали от Льва Толстого, я ликвидировал тогда свое дело в доме Суслова напротив церкви Сошествия 1889 года в мае месяце...»[3]

Таким образом, можно с уверенностью считать, что Горький явился в Нижний не осенью, как он писал в очерках «Время Короленко» и «Н. Е. Каронин-Петропавловский», а весною, как он и сам первоначально думал, когда печатал воспоминания о Каронине в журнале.[1] Да и встречи с Карониным могли относиться только к весне, так как весною же писатель переехал в Саратов.

Найденное в архиве Л. Толстого первое письмо к нему Горького дало новое подтверждение этой датировки. Письмо помечено 25 апреля и начинается так:

«Лев Николаевич.

Я был у вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что вы хвораете и не можете принять».

Письмо это, цитированное уже нами по публикации К. С. Шохор-Троцкого,[2] сообщало, что несколько человек служащих на Грязе-Царицынской ж. д., «увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством». Молодые люди просили у знаменитого писателя землю для устройства колонии, а также «помощь нравственную» — советы и указания.

«Мы надеемся, что какой бы не показалась вам наша попытка — достойной ли вашего внимания и поддержки — или же пустой и сумасбродной вы не откажетесь ответить нам. Это не много отнимет у вас время. Если вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут придти к вам. Надеемся на вашу помощь. От лица всех —

Нижегородский мещанин
Алексей Максимов Пешков».

Итак, письмо настойчиво требовало ответа. Но оно заключало в себе одну странность — в нем не было адреса для ответа.

Может быть, адрес был на утерянном конверте, что, впрочем, трудно допустить: писать на конверте «адрес отправителя» тогда не было в обычае, сам Горький, посылая в том же году письмо Глебу Успенскому, по-

---

[1] Сб. «А. М. Горький», Сталинград, 1936 г., стр. 52.

[2] «Красный Архив», 1936 г., № 5; «Революционный путь Горького», 1933 г., стр. 21.

[3] Из неизданных материалов.

Интересно, что сослуживец Горького, железнодорожник «Веди-Аз», по письмам его или по слухам от общих друзей, тогда уже имел сведения о результатах его путешествия:

«Весною — он бросил службу и отправился в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому.

Но здесь постигла его неудача. Л. Н. не оказалось в Ясной Поляне. Ожидать его А. М. не решился и отправился в Нижний-Новгород».

[1] «Современник», 1911 г., № 10, стр. 3.

[2] Сб. «М. Горький в Нижнем-Новгороде», 1928 г., стр. 187—188.

дробно обозначает свой адрес в самом письме; может быть, Горький забыл написать адрес, а может быть, он писал письмо еще в Москве и, отнеся его в дом Толстого, дожидался непосредственного ответа.

То обстоятельство, что Горький не застал Толстого в Ясной Поляне, легко объяснимо: Лев Николаевич отправился 2 мая в Ясную Поляну из Москвы и пришел туда только 7 мая.

Но в конце апреля Толстой был в Москве, был и не хворал, болезнь Л. Н. могла быть отговоркой для Софьи Андреевны, чтобы не «приваживать» к дому еще одного «толстовца».

«Мне сказали, что вы хвораете и не можете принять» — это расходится с тем, что вспомнилось Горькому, когда он писал очерк «Время Короленко»: С. А. Толстая угостила пришельца стаканом кофе с булкой и сообщила, что Л. Н. ушел в Троице-Сергиевскую Лавру.

Но дело в том, что Л. Н. действительно был около этого времени в Сергиевом посаде, хотя он не «ходил» туда по образцу богомольца, а жил в имении своего друга С. Урусова и работал над комедией «Плоды просвещения».

По этому поводу покойный исследователь жизни и творчества Л. Толстого Конст. Сем. Шохор-Троцкий, посылая мне текст письма Горького, сообщил такие соображения:

«Толстой, действительно, с 22 марта по 8 апреля 1889 был вне Москвы, гостил у своего старинного приятеля кн. С. С. Урусова в его имении близ Троицкой лавры, и *там,* действительно, перенес припадок болей в печени. Но 8 апреля он вернулся в Москву бодрый и до самого ухода пешком в Ясную Поляну (2 мая) много работал, принимал посетителей и день изо дня вел Дневник.

Сомнительно, чтобы Л. Н-ч «не принял» Ал. М-ча, если был в Москве. Поэтому я думаю, что Горький был в Хамовниках *в начале* апреля, еще до возвращения Толстого от Урусова, и поэтому он вспоминал впоследствии об оказанном ему Софьей Андреевной приеме и об ее словах, что Л. Н. «ушел» в лавру. А его слова в письме к Толстому — «мне сказали, что вы хвораете

и не можете принять» — следует понимать: «... *не смо*жете принять». Вероятно, у него была мысль зайти к Толстому в имение Урусова (что для него было дойти или доехать до Сергиева посада, когда он тысячи верст исходил), но Софья Андреевна, хотевшая, за несколько дней до того, помешать поездке туда трех американцев, приехавших в Россию специально ради беседы с Толстым, несомненно постаралась помешать приходу в княжеское имение одного из «темных бездельников»...»

Эти доводы исходят из предположения, что Горький был у Толстого в Москве только раз. Но ряд противоречий в этом случае остается. Они устраняются, если допустить, что он был у Толстого не один раз. Первый раз — в его отсутствие, до 8-го апреля, второй раз — не был принят под предлогом болезни и, может быть, в третий раз был — с письмом.

Не чувствуется ли в самом письме — серьезная и несколько сердитая настойчивость?

Но так и не состоялась встреча, которая должна была стать одним из интереснейших фактов биографии и Горького и Толстого.

28. НА ДОПРОСЕ

(К стр. 220)

В газете «Русское Слово» 1913 года в № 130 помещен очерк М. Горького «Музыка». Несомненно, что это один из эскизов к автобиографическим повестям, над которыми в то время А. М. работал («Детство» началось печатанием в той же газете через несколько месяцев). В этом эскизе еще нет того стиля автобиографической точности, какой мы встречаем в его повестях, но в беседе со мной А. М. подтвердил, что описанный в рассказе факт был с ним у Познанского. Изменен ряд деталей, его чин, возраст, время года, дочь пианистка сделана женой, под «поездкой в Ярославль» нужно разуметь «поездку в Казань» и т. д. Ряд деталей подчинен теме очерка — противопоставление вечно-юной всепобеждающей музыкальной стихии пыльному, ничтожному, дряхлому миру царской ищейки.

«... Когда конвойные вели меня из тюрьмы по веселым улицам города, я чувствовал себя героем, воспоминания о несправедливости жизни разжигали в сердце красивый гнев юности, и я шел на допрос, как на единоборство.

Сначала я отвечал на вопросы полковника задорно, грубовато, добиваясь от него криков и угроз, стремясь вступить в спор со злой вражьей душой, но когда я присмотрелся к его восковому лицу и печальным глазам, прислушался к его надломленному голосу и равнодушным вопросам, — в сердце все погасло, задор исчез, стало тягостно, скучно и неловко.

... — Зачем вы ездили в Ярославль?

— Я же сказал.

— В это нельзя поверить, — говорит он, внимательно разглядывая пепел папиросы, и снова шаркает туфлями по паркету.

Он смотрит на все вокруг странно-пристальным взглядом, как будто вещи в кабинете незнакомы ему, не нравятся, или он не находит среди них чего-то нужного. Иногда он молча кивает головою так сильно, что борода его, касаясь груди, расстилается по ней веером. Он похож на степную птицу, которая кружится над разоренным гнездом.

Впервые вижу я такого человека, и мне думается, что он только один на земле такой.

— Послушайте, — говорит он, остановясь и вынув часы: — что же у нас будет, а? Пора вам прекратить это соловецкое сиденье.

И, щелкнув крышкой, продолжает, глядя в угол, где в сумраке белеет бюст Александра II:

— Вы думаете, я желаю вам зла, хочу держать вас в тюрьме и прочее? Напрасно. Зачем? Зачем вам торчать в тюрьме?

— Выпустите.

Судорога перекосила его прозрачное лицо; глаз закрылся.

— Не могу, — сказал он, сухо кашляя, крепко поглаживая щеку. На указательном пальце правой руки надето толстое и, должно быть, тяжелое обручальное кольцо.

— Нужно иметь правдоподобное объяснение вашей поездки. Я уйду... на четверть часа, а вы подумайте и напишите...

...Уходя, полковник притворил дверь неплотно, и теперь в кабинет вливается тревожными ручьями музыка, — где-то в доме играют на рояле.

Было нестерпимо скучно, музыка звала ближе к себе; я встал, подошел к двери и выглянул в светлую, полную солнца комнату.

За открытым окном празднично шумит весенний день; узорные тени деревьев лежат на подоконнике и на полу. Против меня — маленькая дверь; за нею слышны звон шпор, мужские голоса, треск разрываемой бумаги, — это мешает слушать музыку; играют в комнате налево; дверь в нее завешена пестрым, приятно слинявшим ковром; он тихонько колеблется. Музыка уводит от действительности. Я забыл, где нахожусь, приподнял ковер и очутился в большой гостиной. Около двери стоял высокий трельяж с цветами. Я встал между ним и драпировкой; здесь было очень хорошо слышно, и я видел сквозь листья цветов музыкантшу: она сидела спиною ко мне, — очень тонкая, с голой шеей, в каком-то восточном халате из шелка, пестром и легком. Голова у нее была маленькая, в кудрявых темных волосах. Она играла без нот, негромко, медленно, как бы вспоминая забытое. Ее тонкие пальцы перебирали клавиши басов неуверенно, правая рука суетливо бегала по среднему регистру, и я долго следил за трепетом ее рук, чувствуя в различности их движений что-то смятенное, робкое и печальное...

А клавиши точно смеются. Сначала мелодия пьесы была неуловима: альты и тенора звучали бессвязно, тяжелые вздохи басов говорили о чем-то настойчиво и строго, а в общем это напоминало картину осени: по скошенным лугам, по жухлой траве течет сырой, холодный ветер; зябко трепещет лес под его натиском, роняя на землю последние золотые листья. Вдали уныло поет колокол невидимой церкви.

Потом среди поля явился человек с открытой головою. Высоко подняв руки, он бежит, гонимый ветром,

как «перекати-поле», — бежит и все оглядывается назад. Глухой темный гул сопровождает его, а дали полевые становятся всё шире, всё глубже, и, умаляясь перед ними, он исчезает с земли.

Женщина перестала играть и сидит неподвижно, опустив руки, — она сидит так очень долго.

Я смотрю на нее сквозь цветы, ни о чем не думая; в груди все еще звучит красивое эхо; я помню только одно: не надо шевелиться.

Потом правая рука ее медленно и как бы неохотно снова легла на клавиши, и снова меня обнимают торжественные аккорды. Я слушаю их, закрыв глаза. Мне кажется, что большая толпа людей стройно и единодушно молит кого-то, — молит со слезами гнева и отчаяния. Это очень тяжелая, мощная пьеса, и странно, что такая маленькая женщина может так сильно играть.

И эта пьеса совершенно лишила меня сознания действительности...

— Да перестань ты барабанить, Наталья! — сердито крикнул рядом со мною полковник.

Она, не снимая рук с инструмента, повернула голову; лицо у нее маленькое, птичье, очень сжатое с висков, нос — горбатый, и большие синие глаза.

— Арестованный провалился куда-то, понимаешь? — говорил полковник, входя в гостиную, с папиросой в толстом янтарном мундштуке, и приглаживая дрожащей рукой волосы на голове.

— Убежал? — испуганно спросила женщина.

— Очевидно...

— Я, конечно, сразу понял, что это обо мне идет речь, но я не мог тотчас же выйти из-за портьеры и трельяжа, — было неловко и немножко смешно.

— Но как же он? — спрашивала дама.

— В окно вылез, — видимо... Это — сумасшедший, чорт его возьми! — сказал полковник, уходя.

Дама встала и пошла за ним, запахивая капот на груди. Тогда я выдвинулся навстречу ему.

— Вы? — крикнул он, отступая. — Вы что? Зачем вы здесь?

— Я слушал музыку...

Он мигнул, посмотрел на даму и, грозно нахмурив серые брови, приподнял плечи.

— Если это неприлично, — вы меня извините, — сказал я и решил ничего не говорить более.

— Н-да... — отозвался полковник, зажигая папиросу. — Уж я не знаю, как это там, прилично или нет, но делать этого не следовало...

Он пристально уставился в лицо мне и замолчал, а дама, прислонясь к нему, спросила тихонько, но так, что я слышал:

— Его за это накажут?

— Пожалуйте! — сказал полковник, отстранив ее и указывая мне на дверь.

А когда я вышел в светлую комнату, он, усмехнувшись, проговорил:

— Вы меня напугали, батенька. Чудак же вы. Разве вы уж так сильно любите музыку, а?

— Редко слышу...

— А... Да! Ну-с, сегодня я прекращаю допрос...

И, снова усмехаясь, дважды подмигнув глазом, он добавил:

— Этот случай не располагает... к строгостям... Вам, видимо, придется еще разок послушать музыку жены; она всегда играет в это время... До свиданья! — Салтыков, сдай конвойным...

Салтыков — толстый, потный жандарм, — удивленно оглядел меня веселыми, как-будто хмельными глазами и со вкусом откликнулся:

— Слушаю, г. полковник!

А когда вывел меня в канцелярию, то сказал укоризненно:

— Что же вы гуляете по управлению, подобно как по базару? Довольно нехорошая дерзость ваша, и ничего вы не доказали. И что вы думали доказать?

— Просто я музыку слушал...

— Музыку слушают в городском саду...

И строго скомандовал конвойным, подталкивая меня к ним:

— Принимай, земляки!».

29. ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАЧАЛА

(К стр. 233)

Стихотворство Горького имеет очень ранние истоки, как видно по его повести «Детство». Первое указание не автобиографического характера встречается в воспоминаниях И. А. Картиковского. Он рассказывает о том, как они ходили с Горьким в лес за грибами летом 1882 года.

«Все наши прогулки Максимыч воспевал в стихах. Таких поэм у меня было порядочное количество, но, к сожалению, вместе со всеми письмами Максимыча мне пришлось их сжечь уже в Казани, когда я, будучи студентом, ожидал у себя обыска». [1]

В 1928 году И. Картиковский напомнил в письме Горькому две строчки из одной его поэмы той поры:

Карр — вскричала тут ворона
Грузно хлопая крылом.

«Воскресают люди, — писал мне по этому поводу А. М., — которых я давно похоронил. Иван Картиковский действительно «друг детства» моего». Приведенные строчки из поэмы Горького интересны тем, что как будто предвосхищают его позднейшую литературную тему — разговор птиц.

В годы 1883—1884, служа десятником у Сергеева, Горький сочинял стихи, стараясь примениться к темам, которые волновали знакомых гимназистов.

«Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами, — с луковицей.

Семашко говорил мне:

— Какие же это стихи? Это — сапожные гвозди». [2]

[1] «Красная Татария», 1928 г., № 73.
[2] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 215.

Казанские годы были, несомненно, наполнены попытками писать и стихами и прозой, об этом есть ряд свидетельств и мемуарного и автобиографического характера.

К годам 1886—1887 относится тетрадь, которую в 1929 году прислал Горькому его казанский знакомый, бывший студент духовной академии.

«Прислал он мне эту сорокалетнюю тетрадку с доброй целью уличить меня в малограмотности, чего и достиг: двадцать три ветхих страницы, исписанные моим почерком и снабженные «критическими» примечаниями по моему адресу... действительно уличают меня в том, что 18—20 лет я, наверное, гораздо более ловко работал топором, а не пером. Тетрадка не интересная, сплошь наполнена выписками из разных книг, топорными попытками писать стихи и описанием — в прозе — рассвета на «устье» на берегу Волги, у слияния с нею реки Казанки». [1]

Я тогда же просил А. М. дать мне возможность ознакомиться с этой тетрадью. Он отвечал мне: «Казанскую тетрадку не могу Вам прислать, ибо вынужден был возвратить лицу, от коего получил». Если эта тетрадь сохранилась, то в ней мы будем иметь первые по времени автобиографические произведения его — прозу и стихи.

А к 1888—1889 годам относится первое большое и законченное произведение Горького — «Песнь старого дуба». Он, как мы видели, возлагал на него великие надежды и уничтожил его после критики Короленко.

Встречи О. Волжанина с Горьким происходили за несколько месяцев до этого эпизода — в августе — сентябре 1889 года.

Волжанин рассказывает, как он впервые узнал о литературных занятиях Горького.

«Как-то я остался у Чекина ночевать, и мы улеглись с Пешковым на полу рядом. Разница была только та, что у Пешкова были всё же длинные валенки, а у меня и этой скромной иллюзии пуховика не было. Но мы были так молоды, что не хотелось даже думать о таких пустяках.

[1] М. Горький, «О литературе», стр. 245—246.

К этому времени я стал уже автором рассказа, напечатанного в одной провинциальной газете. По тому ли или независимо от того, но однажды, когда мы встретились у Чекина, Пешков показал мне лист бумаги, на котором было написано длиннейшее стихотворение.

— Что это? — спросил я.

— Сие именуется стихами, — ответил он.

— Пишете? — осведомился я.

— Дерзаю, — последовал ответ.

Стихотворение было философски-иронического содержания. Стихами, в строгом смысле слова, его назвать было нельзя. Не было ни рифм, ни подлинного размера, встречались слова и выражения, как будто мало вязавшиеся с представлением о поэзии, да еще в стихотворной форме. Я прежде всего обратил внимание на полное равнодушие автора к правописанию и знакам препинания, о чем и заявил Пешкову.

— В высокой степени с ними не в ладу, — отвечал он мне равнодушно».

«В другой раз он мне стал вдруг рассказывать, что он тоже написал повесть и даже длиннейшую и послал ее в редакцию журнала «Наблюдатель».

— И что же? — поинтересовался я.

— Приняли, дураки.

— Почему же дураки? — удивился я.

— Потому что повесть глупейшая и написал я ее не в серьез, а ради смеха. А они, дураки, приняли ее в серьез.

— А что, если напечатают вдруг? — спросил я.

— Я уж написал им, что пошутил, — сказал Пешков.

До сих пор не знаю, кого тогда мистифицировал Пешков: меня или почтенную редакцию петербургского журнала. Для меня не было бы ничего невероятного, если бы оказалось, что мистификации подвергся журнал Пятковского, ибо поведение Пешкова того времени вполне это допускало».

Пересылая мне эти воспоминания А. М. отчеркнул последние абзацы приведенного места и сообщил такой «комментарий»:

«Это было так: рассказывали, что Пятковский, редактор «Наблюдателя», напечатал — или хотел напечатать — «Пиковую даму» Пушкина; рукопись была подписана, конечно, другим именем. Если не ошибаюсь, автором этой шутки называли Терпигорева, — «Сергея Атаву». С. Г. Сомов знал Пятковского лично, относился к нему озлобленно и утверждал, что редактор «Наблюдателя» — невежда в литературе. Но Сомов сам был невеждой в этой области. Желая проверить его я склеил из кусков «Воспитанницы Сары» Вельтмана и из рассказа Шкляревского «Принциписты-самоубийцы» маленькую повесть, переписал и послал в «Наблюдатель», подписав какой-то фамилией. Ответ редакции был действительно благосклонный: рассказ принят. Тогда я немедленно известил редактора, что это шутка. Но помню, что Сомову об этом опыте не рассказывал. Письмо редакции было предъявлено мне на допросе жандармским генералом Познанским, но так как оно было адресовано на фамилию вымышленную, я заявил, что не знаю, как оно оказалось в бумагах, отобранных у меня».

Историю с «Пиковой дамой» можно бы счесть анекдотом, но газета «Неделя» подтвердила ее как факт. В № от 1 сентября 1885 года в своем литературном обозрении она поместила такое сердитое замечание:

«Недавно, как известно, был даже пример перепечатки Пушкинской «Пиковой дамы»; но тут еще можно предположить злую шутку над невежественной редакцией; в других же случаях это едва ли шутка: это — своего рода «знамение времени».

Имя счастливого редактора «Неделя», однако, не называет. В «Наблюдателе» такого литературного курьеза мной не обнаружено.

30. ГУСЕВ

(К стр. 291)

В образе старого революционера-народника, неутомимого пропагандиста, приехавшего в 1889 году в Нижний и распушившего молодежь за то, что «забыли о революционной работе», Горькому вспоминалось историческое лицо. Это был Вас. Сем. Гусев, дея-

тель революционного движения 60-х—70-х годов. Правда, его биография несколько отличается от той, какая осталась в памяти Алексея Максимовича. Он как бы художественно ее дополнил.

Гусев действительно целыми годами странствовал по Тамбовской и Воронежской губерниям, по всему Поволжью, ведя пропаганду среди раскольников, выдаваемый крестьянами, подвергаясь преследованиям и арестам. Он действительно был в ссылке, но не «где-то около Ташкента» и не «двадцать лет», как думал Горький: он был в Акмолинске с 1884 по 1889 год. Осенью 1889 года он действительно прибыл в Нижний, и хотя был еще не стар, ему было около 50 лет, но жизнь его была такова, что он казался Горькому «высохшим как мощи, готовым рассыпаться в пыль». Когда нижегородские жандармы устроили в квартире Горького, Сомова и Чекина засаду, то одним из зарегистрированных посетителей этой квартиры был некто Лев Бетнер, «живущий у смотрителя Аракчеевского корпуса», — жандармам было невдомек, что под этой фамилией скрывался Гусев.

Фигура этого старого народника интересна для нас тем, что послужила Горькому прообразом одного из персонажей в «Жизни Клима Самгина», а именно — Якова Самгина, дяди Клима. Дядя Яков тоже приезжает в конце 80-х, в начале 90-х годов из ссылки и тоже устраивает как бы ревизию новому поколению.

Вот эта замечательная сцена его появления в романе:

«Когда Клим вышел в столовую, он увидал мать, она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек, в грязных и длинных, до колен, сапогах, стоял он, закинув голову, открыв рот и сыпал на язык, высунутый, выгнутый лодочкой, белый порошок из бумажки.

— Это — дядя Яков, — торопливо сказала мать. — Пожалуйста, открой окно!

Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее: Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника

неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной, костлявой рукой, спросил глухо:

— Это — второй? Клим? А Димитрий? Ага! Студент? Естественник, конечно?

— Говори громче, я глохну от хины, — предупредил Яков Самгин Клима, сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг.

— Значит — явочной квартиры — нет? И кружков — нет? Странно. Что же теперь делают?

Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ее ответа, Самгин сказал Климу:

— Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил двадцать лет в Ташкенте и в Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да. Меня, в твои года, называли «L'homme qui rit».

Клим заметил, что дядя произнес:

— Льём.

— Канавы копал. Арыки. Там, брат, лихорадка.

Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку.

— Гм, разбогател Иван. Как это он? Торгует?

И еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима:

— Точно буфет на вокзале.

Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди, он показывал серовато рубаху грубого холста; на сморщенной шее, под острым кадыком, красный, шелковый платок свернулся в жгут, платок был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными, кожаными ушами, — всё это делало его похожим на старого солдата и на расстриженного монаха. Но зубы его блестели бело и молодо, и взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще

дядя был как-то пугающе случайным и чужим, в столовой мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали как вопросы экзаменатора, мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновато.

— Ну, что же, какие же у вас в гимназии кружки? — слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как Ржиге, отвечал:

— Толстовцы. Затем — экономисты... немного.

— Расскажи! — приказал дядя. — Толстовцы — секта? Я слышал: устраивают колонии в деревнях.

Он качнул головою.

— Это — было. Мы это делали. Я, ведь, сектантов знаю, был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне говорят, Степняк писал, — Кравчинский, — знаешь? Гусев — это я и есть.

Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но всё же о толстовцах он стал допытываться настойчиво:

— Ну, что ж они делают? Ну — колонии, а — потом?

Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна; хотелось спросить: почему не подают завтрак? Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он, он же так занят науками, что...

— Нам науки не мешали, — укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе.

— Катин? Не знаю.

Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции, он улыбнулся:

— Ага, значит из честных. В мое время честно писали Омулевский, Нефедов, Бажин, Станюкович, Засодимский; Левитов был, это — болтун. Слепцов, — со всячинкой... Успенский, тоже. Их было двое, Успенских, один — побойчее, другой — так себе. С усмешечкой.

Он задумался и вдруг спросил мать:

— Забыл я: Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно? Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал?

Гм... А Иван в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только лечится? Здоровый был. Но — в принципах не крепок. Это все знали.

Говорил он громко, точно глухой, его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились всё громче, казалось, что еще несколько минут — и она начнет кричать.

— Тебе сколько — тридцать пять, семь? Моложава, — говорил Яков Самгин и, вдруг замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу:

— Ну-ка, проводи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили...

По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.

...Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно, точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил:

— Я вас из окна увидал и сразу почувствовал: это — он! Мне Сараханов писал из Саратова...

Дядя Яков усмехаясь осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное, сморщенное лицо его стало, как будто, светлее, моложе.

— Ну, ну, — говорил он, усаживаясь на ветхий диван. — Вот как. Да. В Саратове кое-кто есть. В Самаре какие-то... не понимаю. Симбирск — как не жилая изба.

Он перечислил еще несколько приволжских городов и наконец спросил:

— Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает, — предупредил он и словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей; Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные уши должны трещать от прикосновения к ним.

Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял:

— Тоже служит в земстве, статистик.

— В земстве — это хорошо, — одобрил дядя Яков, но прибавил: — Но этого мало.

Потом, выгнув кадык, сказал вздохнув:

— Одичали вы.

— Это теперь называется поумнением, — виновато объяснил Катин. — Есть даже рассказ на тему измены прошлому, так и называется: «Поумнел». Боборыкин написал.

— Боборыкин — болтун! — решительно заявил дядя, подняв руку. — Вы ему не подражайте, вы — молодой. Нельзя подражать Боборыкину».

31. СКВОРЦОВ

(К стр. 292)

Человеком «разумной работы, подвига и бунта», с необыкновенной энергией шедшим по дороге практической революционной борьбы был Федосеев. Выстрел 12 декабря 1887 года и отъезд Горького к Ромасю разлучили его с Федосеевым. Арест Горького в Нижнем в 1889 году был отголоском федосеевского дела, но уже без всякой преемственной связи.

Если Федосеев был подлинным последователем революционного марксизма, идеи которого в ту пору едва пробивались среди плотных наслоений народничества, то в Нижнем марксизм представлял экономист Скворцов, по профессии и призванию — ученый статистик.

«П. Н. Скворцов, — вспоминает Горький, — был в то время одним из лучших знатоков Маркса, он не читал никаких книг кроме «Капитала» и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме». [1]

Это место воспоминаний Горького вызвало возражение участника скворцовского кружка тех лет М. Г. Григорьева: «В гостиной адвоката Щеглова П. Н. Скворцов излагал основные положения далеко не те же, что позже написал Струве, а положения те же, что немного позже более талантливо и более научно по поводу книги В. В. излагал не то в той же гостиной жены адвоката Щеглова, не то в квартире М. Е. Якубовской в Нижнем-Новгороде Владимир Ильич Ульянов-Ленин». [1]

Одно исключает другое. Тотчас же после появления «Критических заметок» В. И. Ленин разоблачил либеральную, антиреволюционную суть книги Струве, определив ее, как «отражение марксизма в буржуазной литературе».

Кто же из двух присутствовавших на чтении Скворцова свидетелей был прав — Горький или М. Григорьев?

Эпизод этот чрезвычайно интересен, потому что им определяется чуткость молодого Горького, разгадавшего нереволюционную суть скворцовских положений в ту раннюю пору — в 1889—91 годах, — когда подчас лишь для острого и опытного политического ума ясны были истоки революционного и «легального» марксизма.

К чему пришел Скворцов, показывает его выступление в 1899 году против книги Ленина «Развитие капитализма в России». Ленин в статье «Некритическая критика» жестоко высмеял доктринерские рассуждения Скворцова, у которого исторические вопросы заслонялись абстрактными схемами, а работа над творческим усвоением марксизма — стремлением «выучить «Капитал» наизусть и цитировать его кстати и некстати»... [2] Не понимая диалектической основы великого учения, Скворцов выхолащивал его революционную суть, как это, на свой манер и сознательно, делал и Струве и прочие «легальные» марксисты, искажая Маркса в интересах буржуазии.

Доклад Скворцова, читанный им в Нижнем-Новгороде в 1890 или 1891 году, не сохранился, но известны его печатные работы того времени — статистические

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVIII, стр. 156.

[1] «Пролетарская революция», 1923 г., № 8 (20), стр. 61.

[2] Ленин, Соч., том IV, стр. 486.

очерки и рецензии в журнале «Юридический Вестник». В них он доказывал неизбежность внедрения капитализма в земледелие и кустарные промыслы, — в полемике с идеалистическими представлениями народников это имело положительное значение. Но таким «объективизмом» и ограничивались работы Скворцова. При этом он пользуется терминологией, которая была не обязательна даже в цензурных целях. Так, его занимает вопрос о том, что критика существующих отношений у отходящих на отхожие промыслы крестьян принимает «грубые формы», а говоря об изменении экономического положения кустарей в связи с переходом на положение наемных рабочих он сообщает: «патриархальные отношения сменяются своеволием, ослушанием и распущенностью». [1]

Еще в 1889 году Скворцов организовал около себя в Нижнем кружок. Весной 1936 года я запросил А. М., был ли он членом этого кружка. Ответ на этот вопрос мой был последним письмом его ко мне.

«В кружке Скворцова я не участвовал, — писал А. М. — Мне Павел Николаевич был антипатичен, ибо слишком напоминал сектантских «начетчиков» Заволжья, а этих жесточайших догматиков и крайне озлобленных людей я почти ненавидел... Они были апологетом страдания, идиотически убежденными в его неустранимости. Заметьте, что почти для всех сектантов с уклоном к мистике Христос только «страдалец», так-же как и присные его, и Богоматерь. Проповедуя неизбежность страдания — они его увеличивали.

Возвращаясь к Скворцову скажу, что этот, несколько комический человек, был высоко образован, хотя и односторонне. Возможно, что я путаю хронологию, но вот какое твердо сохранилось у меня впечатление: в 89 или 90 г. Скворцов читал в Нижнем у адвоката Щеглова статью, которую он послал в «Юридический» или «Экономический вестник», — был такой журнал. Статья не была напечатана, — Скворцов

[1] «Юридический Вестник», 1891 г., № 5—6, стр. 179; 1890 г., № 3, стр. 541.

говорил об этом с гордостью. В 94 г. вышли «Критические заметки» Струве, прочитав эту книгу, я вспомнил ст. Скворцова и, при встрече, спросил его: «Это ваша статья, да?» Он угрюмо ответил: «А — чорт с ними!» Повторю: может быть я ошибаюсь, но впечатление таково и — не тленно».

32. СЕЛО КАНДЫБИНО

(К стр. 318)

Рассказ Горького «Вывод», в котором описано было происшествие в селе Кандыбино, стал широко известен в советское время колхозникам этого села.

Когда в первый раз там читался этот рассказ, раздались возгласы:

« — Да це ж Гайченко Сильвестр.

— Он, он, гад.

— А може и не он. Разве один Гайченко мордовал свою жинку?»

А когда колхозник Иван Довгань прочитал в Сухом Еланце этот рассказ вслух Анне Костенко, то со слушательницей произошло следующее:

«... Она изменилась в лице и безмолвно повалилась на землю. Глубок был обморок, и много усилий потрачено было на то, чтобы привести ее в чувство. Анна узнала в несчастной женщине свою мать Феклу Никитину.

Но она ошиблась.

15 июля 1891 года чинил расправу с беззащитной женой именно Гайченко Сильвестр. Все село хорошо помнит этот день, потому что был он днем необычным для Кандыбина. В этот день впервые за избиваемую женщину горячо заступился один прохожий. Он бросился в толпу, он кинулся к истязателю, он рванулся на защиту истязаемого человека».

Об этом случае рассказывали старики села Кандыбина.

«Кальтя Константин Иванович уж стар, седоус, седоголов. Он говорит медленно и тягуче.

— Видал все, видал сам своими глазами. Дюже бушевал Гайченко. Гнал Горпыну, помню, кнутом. Сам

стоит на повозке, а бабу привязал за шею. Стегал то коняку, то ее. А на ней от платья одни лохмотья висели, всю одежду иссек, зверюга. Я тогда хлопцем был. Как услыхали, что под корчмой Гайченко Горпыну бьет, прибежали туда глядеть. Бежим кругом повозки. Нам интересно, что мужик бабу бьет. Вижу, стоит на пригорке русявый человек с усами, в белой рубахе, в соломенной шляпе. Корзинка, помню, у него в руке была. Что в ней было — не знаю, может вещи какие. Палку в руке держал...»

«— Били здесь жинок, били крепко, — говорил Кальтя. — Этот Гайченко особенно зверствовал. А когда найпервейший наш писатель Максим Горький случился тут ненароком на тракте, не выдержала его душа, и кинулся он спасть бедную Гарпыну. По темноте своей и дикости мужики побили и бросили его там внизу, к фонтану. Ехали подорожные цыгане, подняли его и повезли в Николаев в больницу».

А кузнец Сохань, Константин Васильевич, рассказывал:

«Драка в Кандыбине не была диковинкой. На избиение женщин никто до русявого того прохожего не обращал никакого внимания. Это вошло в привычку. Побили — ну и пусть лежит. Это у нас в Кандыбине было еще с далеких времен, от самого Кандыбы».

Рассказывали и другие крестьяне. Вставали картины прошлого.

«Сколько слез и крови перевидала на своем веку корчма по-над кандыбинским трактом на пригорке. Сейчас от нее одни развалины остались, а было время — гремела кандыбинская корчма на всю округу пьяными драками. Кнут и затрещина, зуботычина и плетка, с гиком, с ухарством. Часто и зло дрались друг с другом, но чаще и злее били женщин. Загулявшие кандыбинцы кричали степную песню. Вперемежку с приглушенным стоном истерзанных женщин плыла песня над трактом, над сельской улицей, уплывая в степь».

Вспоминая это прошлое, кандыбинские колхозницы к женскому дню 8 марта 1935 года написали письмо Горькому —

НАШЕМУ ПЕРВОМУ ЗАСТУПНИКУ

Дорогой наш, любимый Алексей Максимович!

Пишут тебе, нашему родному, колхозницы села Кандыбина.

44 года назад ты видел, как Гайченко Сильвестр зверски издевался над своей женой Гарпыной, и впервые прозвучало тогда в селе Кандыбине смелое слово в защиту женщины-рабыни. То было твое слово, родной наш Алексей Максимович.

Сильвестр Гайченко был не один. Издеваться над женщинами было делом обычным. Били, привязывали к лошадиному хвосту, отрезывали косы... Только Великий Октябрь, коммунистическая партия и советская власть прекратили наш позор и страдания, дав нам полное равноправие...

Посмотрел бы ты, какими мы стали!

Богато у нас ударниц — и жинок и дивчат. В том самом дворе, где подох подлый Гайченко, в заново отделанной хате живет ударница-колхозница Максимова Дуня. Она примерно работает на степи, а кроме того она комсорг. Сегодня она как раз уехала на курсы в район.

Или взять Дашу Колот из Гурьевки. Активистка самой высокой меры. Когда из МТС отправили агитмашину в объезд по колхозам, кого посадили на машину? Колхозницу Дашу Колот. Она ездила все лето и разъясняла и разъясняла.

Алексей Максимович! Когда-то кандыбинская женщина — это искалеченная, жалкая, несчастная Гарпына Гайченко. А сейчас кандыбинская, новопетровская, гурьевская, малиновская, еланецкая женщина — это такая, как колхозница Саша Мыленко из «Ясной зари». Она сдала все нормы на значок «ГТО». Она на областной спартакиаде обогнала в беге всех бегунов. Вот какие у нас теперь пошли женщины, Алексей Максимович!

А Турманенко Оля, Ульяна Гнедая, Клава Бондарь, Мироненко Маша, Брайченко Степанида, Даша Данич и много других — они давно показали себя знатными работницами, не уступающими мужчине, настоящими строительницами социализма...

И еще скажем вам, Алексей Максимович, что недооценивает нас, жинок, здешнее руководство. Не посылают на серьезную учебу, не доверяют ответственных постов в здешних колхозах. Читали мы, как на 2-м съезде колхозников-ударников называли большие тысячи председателей колхозов — жинок, бригадиров-жинок. А у нас бригадиров-жинок не только в наших кандыбинских колхозах, а и во всем районе, может быть, есть одна — другая, не больше. Женщина наша рвется в работу, а головотяпы кандыбинские угробляют жиночий рост. Есть еще здесь кое у кого втайне старый погляд: бабье дело — горшками командовать...

Так напиши же, наш Алексей Максимович, здешнему районному руководству, чтоб оно смелее выдвигало нас на руководящую работу.

Еще горячее наше желание: на том самом месте, где стояла когда-то корчма и где произошла наша печальная с тобой первая встреча, построить для наших детей новую школу 10-летку взамен теперешней 7-летки. А также построить клуб.

Даем мы тебе наше торжественное обещание: начиная с посевной кампании так повести колхозную работу, чтобы стать образцовым колхозом, передовым по району. Этим мы завоюем себе право к концу года, когда мы подсчитаем большие хозяйственные и культурные итоги, ходатайствовать о перемене имени селу. Мы хотим вычеркнуть из памяти ненавистное название Кандыбино по имени какого-то самодура генерала. Разреши нам просить о переименовании нашего села в село Пешково, в честь родного нашего первого борца за раскрепощение женщины. Колхоз же Кандыбинский разреши нам просить назвать именем Горького».

Написали письмо и колхозники, рассказывали о том, «как накануне жиночьего праздника 8 марта вспоминали твой суровый показ нашего прежнего житья, прежней тьмы и дикости, которую ты грозно обличил. Стыдно и позорно было нам вспоминать про это, хоть не наша то была вина.

... Вот сидят старики, опустив свои сивые головы. Они близко у сердца чуют этот стыд. Иные из них в то проклятое время сами подымали руку на женщину. Иные были равнодушными свидетелями, как Гайченко истязал свою жинку.

А ныне, поверь, дорогой наш Алексей Максимович, никто из них не допустил бы никакой расправы, не говоря уже об нас, более молодых людях...

Наш колхозник Иван Довгань еще в 1931 году вырезал твой рассказ «Вывод» и хранит его по сие время вместе с партийным своим билетом у себя на груди...» [1]

33. СПУТНИК

(К стр. 320)

О том, как обнаружился персонаж рассказа Горького «Мой спутник» и как он пожелал дать свою версию путешествия, рассказывает тифлисская газета «Новое Обозрение» в № от 30 октября 1903 года. 2 ноября «Одесский Листок» поместил свой перевод рассказа С — дзе.

Персонаж здесь бурно полемизирует с автором. Привожу отрывки из его рассказа в части, так сказать, эпической:

«С Пешковым я познакомился в Одессе, куда я попал случайно. В Батуме товарищ меня обокрал и уехал. Я погнался за ним в Одессу, но его не удалось разыскать. Прошло некоторое время и я остался без гроша... Приходилось даже ночевать в саду, куда я прокрадывался по ночам. Решив как-нибудь возвратиться на родину, я направился в гавань и стал неподалеку от парохода. Два дня ничего не ел и сильно голодал. Костюм у меня был хороший, почти новый, как рассказывает Горький. В это время ко мне явился здоровый детина в изодранном платье и попросил у меня пятачок; я засмеялся: сам я был голоден, а этот еще денег просит... Рассказал ему о себе, и мы познакомились. Он оказался Пешковым из Нижнего-Новгорода. Ему было тогда 22—23 года. Он был здорового телосложения, высокий, плечистый; мне же было тогда лет 18. Это случилось в 1891 году.

[1] «Крестьянская газета», 1935 г., № 35—36.

Как мне после рассказывал Пешков, он прибыл пешком из Харькова. Дорогою, оказывается, он забрел в один монастырь, где какие-то два странника обобрали его до-чиста... В тот день, когда мы встретились, оба были сильно голодны. У меня была тросточка, которую Пешков продал за 30 к. Ночевали в саду. На другой день искали работы, но не нашли, поэтому решили отправиться в Николаев. Денег, конечно, у нас не было. У меня хранилась одна французская монета, прежде она висела у меня на цепочке. Пешков продал и ее за 30 к. Из Одессы отправились в августе, так числа 18-го и до Николаева путешествовали 7 дней. Работы и там не нашли. Там сказали, что из Херсона отправляется пароход, который может из милости доставить нас в Батум. Пришли в Херсон, но к пароходу не поспели... Далее отправились в Симферополь, но и там не удалось достать работы. Затем Пешков посоветовал отправиться на Кавказ пешком. Так и решили.

Здесь я должен заметить, что Пешков обходился со мной очень хорошо. С состраданием отзывался о том, что я не привык переносить такие трудности, и когда хлеба бывало у нас мало, бóльшую часть уделял мне. Вообще во время всего путешествия ничего плохого от него я не видел. Много несчастий и горя пришлось вместе пережить. В одном месте мы заблудились и попали в дремучий лес. Чуть было мы здесь не сделались жертвами кабанов: еле-еле удалось взобраться на деревья, где мы, голодные, просидели до тех пор, пока кабаны не разбежались.

Попали кое-как в Ялту. Здесь, к нашему счастью, Пешков нашел 3 коп. — сейчас же купили хлеба. Усталые и голодные, решили во что бы то ни стало пробраться на пароход — и проехать некоторое расстояние. Это нам удалось. О том, что мы безбилетные, узнали только тогда, когда пароход уже отчалил. Капитан целый час ругал нас, но что-же он мог сделать: не выбросить же нас в море! Затем приказал старшему матросу заставить нас работать на пароходе. Матрос оказался сердечным человеком, обошелся с нами очень ласково: напоил, накормил и дал выспаться... Таким образом мы приехали в Феодосию, где нас выпроводили с парохода.

Во все время нашего путешествия это пребывание на пароходе оставило в нас самое лучшее воспоминание. Здесь Пешков продал мой полуцилиндр, точнее, он променял его на старую шапку и взял в придачу немного денег...

По берегу моря на дачах нам очень помогали гостиничные повара, давали есть, и даже в одном месте подарили 15 коп. В Керчи ночевали под мостом. Лодки не воровали, как рассказывается в повести. В Тамани много было лодок, грузили мукою; мы помогали таскать мешки и за это нас перевезли на другой берег. Мы перешли в брод через одну реку, название которой не припоминаю. Река была очень широкая, незаметно текла, вода почти стояла. Мы долго переправлялись, чуть было не утонули: в некоторых местах вода была очень глубокая. На другой стороне были рыбаки, приняли нас очень хорошо и накормили. Здесь-то и было, что напали на нас собаки, и здесь-же я танцовал лезгинку вокруг костра.

Из Владикавказа до Тифлиса путешествовали до 7 дней. В Душете застиг нас снег. Мы были совершенно оборванные, особенно Пешков совсем уж был в лохмотьях; обуви у него совершенно не было, и кожа на ногах так растолстела, что стала походить на подметки. Ниже колен брюки были разорваны и виднелось голое тело. В Мцхете я направился к старшине, просил приюта, заявил, что я грузин, но и это не подействовало: «таких, говорит, как вы проходимцев много», и засадил нас на ночь в арестный дом.

На другой день направились в Тифлис; было еще рано, когда с Вера спустились к Тифлису. Стыдно было мне в таком виде проходить по Тифлису: могли встретиться знакомые. Подождали до вечера. Перешли через Верийский мост и направились к вокзалу. Здесь в железнодорожных мастерских служил мой дальний родственник слесарем. Направились к нему. Сначала меня не узнал: я и Пешков похожи были на настоящих чертей; давно мы не стриглись, да и лохмотья наши слишком истрепались. Наконец, меня узнали, и нас хорошо приняли: накормили и дали платье мне и Пешкову, — даже отправили нас в баню».

Не трудно догадаться, что о последних событиях «спутник» рассказал в решительное «опровержение» конца повести Горького. Этот конец ему особенно не понравился.

34. НА ГОРЕ ВЭРЕ

(К стр. 333)

Ольга Иосифовна Данько, в семье которой Горький жил в Тифлисе, передала мне свои интереснейшие воспоминания. По моей просьбе они были прочитаны Алексеем Максимовичем. Привожу отрывки из них. Ломаными скобками обозначено зачеркнутое А. М., курсивом набрано вписанное им.

«В конце 1891 или в начале 1892 г. товарищ моего мужа ⟨А. М. Калюжный⟩ *М. Я. Началов* привел к нам высокого юношу. Помню вышитый ворот русской рубашки, широкополую черную шляпу, сдвинутую на затылок и обаяние силы и здоровья, исходившее от рослой фигуры гостя. ⟨А. М. Калюжный⟩ сказал, что это его приятель Алексей Максимович Пешков, пришел пешком из Нижнего в Тифлис, нуждается в комнате, нельзя-ли устроить его у нас? Помнится, что гость временно приютился у ⟨Калюжного⟩ *Началова* в небольшой ⟨квартире, занятой и без того многочисленной семьей⟩ *комнате, где он жил с женой.*

В тот же день Ал. Макс. перебрался к нам со всем своим имуществом — двумя пачками книг и тетрадей. Мы жили в высокой части Тифлиса, на — «*Вэре*» — горе, за Верийским мостом, во втором этаже небольшого деревянного дома. В двух комнатах жили мы с 8-ми месячной дочкой — Наталкой,[1] следующую комнату занял Алекс. Максимович.

Комната Ал. Макс. — довольно большая, с двумя окнами на веранду, — казалась пустынной. В ней стояли только: некрашеный стол, стул и кровать. Алекс. Макс. служил ⟨табельщиком⟩ в *счетоводном отделе* мастерских Закавказской жел. дор. (помнится, получал

[1] Наталия Яковлевна Данько, родилась в Тифлисе в 1891 г. Скульптор.

30 р. в мес.). Вернувшись со службы, он принимался за чтение или за писание. Проходя по веранде мимо его окон, мы постоянно видели его, углубленного в работу за столом. На его окнах высокими стопками лежали тетради в толстых, сильно потертых переплетах из пестрой папки. Повидимому он с ними не расставался. Алекс. Макс. привлекал к себе своей исключительной простотой, веселостью, сердечным отношением к окружающим. Вид у него был всегда бодрый, он охотно шутил и возился с маленькой Наташей, — ему тогда было 23 или 24 года.

Мы с мужем целые дни были на службе в Материальном отделе Закавказской ж. д. Наташа оставалась на руках няни Матрены, которой приходилось разрываться между уборкой, стряпней, стиркой и уходом за ребенком, начинавшим ходить. Ал. Макс. видел, что Матрена не управляется со всеми работами. В дни, когда он бывал свободен от дежурства, он принимался ей помогать: то воды принесет, то разведет огонь, то котлеты порубит, а то — посадит Наташу на плечо и, захватив для нее бутылочку с молоком и запасные «детские принадлежности», уйдет с ней в горы на несколько часов. Мы жили недалеко от горы св. Давида, где похоронен Грибоедов. Теперь на эту гору ведет электрическая жел. дор., тогда — на ее вершину поднимались по крутым тропинкам, которые вились по скалам и по краям пропасти. Я радостно доверяла ребенка Алекс. Макс., зная, что он не поскользнется, не покатится вниз с оторвавшимся камнем. Взобравшись на гору, Алекс. Макс. усаживал Наташу в тени, а сам располагался возле с книгой в руках и читал, пока девочка играла камешками и травинками.

Помню, как они шествовали по Тифлисским улицам на окраине города: великан в своей широкой шляпе с маленькой тоненькой девочкой на плече. У двер⟨ей⟩и духан⟨ов⟩а стояли ослики с ⟨угольными⟩ мешками *древесных углей* на спинах. ⟨Они⟩ терпеливо ⟨ждали⟩ *ожидая,* пока их хозяева ⟨пили в духане бузу⟩ *выпьют вина.* Завидев ослика, ⟨годовая⟩ девочка радостно вскрикивала и тянулась к животному, ⟨Алекс.⟩ Макс. *имычь* подносил ее поближе и они оба гладили его, ласкали его длинные уши, а девочка даже целовала

его серую морду. Ал. Макс. весело смеялся. Няня Матрена не могла нахвалиться своим удивительным жильцом. Такой доброты и сердечности от чужого человека, такого внимания к обычно презираемому мужчинами тяжелому труду женской прислуги, такого желания помочь, облегчить этот труд — она не видела никогда. Ее умиляло то, что Ал. Макс. умеет «рубить» котлеты.

Няня Матрена до самой смерти вспоминала Ал. Макс. со слезами умиления, как самого «душевного» человека, которого ей пришлось встретить в жизни. Узнав его литературные произведения, она горько жалела, что не рассказала ему про свою горемычную молодость: про тяжелую работу на Уральских золотых приисках, про побои пьяного мужа, про смерть двух детей. Особенно ей хотелось рассказать ему один случай. На реке Туре был ледоход. Муж ее послал Матрену на другую сторону реки, чтобы она заложила у целовальника тулуп и принесла домой водки. Полуослепнув от мокрого снега, Матрена перепрыгивала со льдины на льдину, скользя, падая, проваливаясь в воду. Она чуть не погибла, но принесла мужу водку, а он «хоть бы спасибо сказал»!

— И как я это Ал. Макс. не рассказала! Невдомек было. Уж он то все описал бы... Уж он то знал это самое... — говорила Матрена.

Началов, Калюжный называли его Максимычем, так же звала и Матрена.

Много лет спустя Матрена увидела Ал. Макс. на вокзале в Москве — вероятно, она обозналась. Ей ужасно захотелось подойти к нему, но она не решилась — «побоялась» [1] ⟨мировой славы писателя⟩.

В Тифлисе того времени русское население состояло из офицерства, чиновничества, солдат и сектантов-молокан. Наша группа «политических» жила отдельно, своим мирком.

Оторванные от России, окруженные глухой стеной реакции, мы сердечно тянулись друг к другу. Нас связывали воспоминания об общей работе, о ссылке, редкие вести о далеких товарищах. Летом в 1891 и 1892 гг. мы, собравшись компанией, навещали бывших ссыльных, поселившихся в Баку, Кутаисе, в Батуме (помнится ездили к Румянцеву, — *в Боржом* — Тищенко, Здановичу). Из Тифлиса устраивали прогулки пешком. Вас. Вас. Берви был хороший ходок. Мы — молодежь — едва поспевали за ним, когда он взбирался на высокие крутые горы, таща в руках огромный арбуз, в горах питьевая вода встречалась редко. Зимою мы устраивали литературные вечера, чаще всего в квартир⟨е⟩ах Евангулова *и Мамиконова* (хозяин считался «благонадежным» и наши собрания не привлекали внимание полиции). Много вечеров было посвящено чтению ⟨новых глав «Положение рабочего класса в России»⟩ *дополнений к «Азбуке социальных наук»* В. В. Берви *и его беллетристических рассказов.*

В нашу среду Алекс. Макс. вошел сразу, как близкий, давно знакомый человек.

В 1892 г. летом собирались у нас на веранде. Приходили: А. М. Калюжный, М. Я. Началов, Н. М. Флеров, А. Н. Балдин и ставший нашим близким другом — Вас. Вас. Берви. Мы читали новые книги, журналы, газеты. Возникали споры. Помню, как яростно А. Макс. нападал на современную культуру. Он обличал ее лживость и лицемерие, ее тлетворное влияние, уродующее личность человека, он противопоставлял этой «культуре» правду, простоту и жизненную силу «низов» социальной лестницы. Ал. Макс. говорил искренне, убежденно. Он не прибегал к внешним эффектам в споре, но подкреплял свои мысли разнообразными примерами, виденными и пережитыми за время своих скитаний.

Иногда вечер заканчивался музыкой, Як. Аф. был хорошим скрипачом. Он играл нам классические вещи или народные, большею частью украинские мелодии. Его игра отличалась теплотой чувства и всегда сильно действовала на слушателей. Алекс. Макс., бывало, просил, чтобы Як. Аф. немножко поучил его играть на скрипке. Занятия ограничивались небольшими пробами. Правильных уроков Ал. Макс. не брал.

С тех пор прошло больше 40 лет.

Конечно, мне трудно восстановить в памяти многие факты. Например, совершенно выпало из моей памяти такое важное обстоятельство: когда, именно, Алексей Макс. жил у рабочего Федора Афанасьева?

[1] Кавычки поставлены А. М. — *И. Г.*

Мне помнится, что Ал. Макс. прожил у нас до конца ⟨августа⟩ *июня* 1892 г. Помню, также, последний вечер, когда он, прощаясь, говорил: «еду в Самару, меня там ждет невеста». — *В Баку. Никакой «невесты» не было. Из Баку возвратясь поселился с Ф. Афанасьевым*».

В ряду многих воспоминаний, которые мне удавалось просить А. М. прочесть, эти воспоминания заинтересовали его более других и вызвали с его стороны живой отклик.

В письме ко мне А. М. писал:

«Данько напомнила мне отличнейшую бабу Гурьевну, — мне кажется в святцах наших нет имени — Гурьян, есть — Гурий, — Гурий, Симон, Авив, мученики, — но ее рассказ о том, как Гуревна, якобы, в ледоход за водкой ходила, это — песня Гуревны, — она, если не ошибаюсь, есть в «Великороссе» Павла Шеина —

Полюбила я милова, эх, да раннею весной
Полюбила-прилучила злую долюшку себе

И — дальше:

За вином ему ходила через речку, через лед
В самый лютый ледоход

А конец:

Не любите девки, бабы ранным-раннею весной

Это, вероятно, одна из песен «бобылок», которые следует относить к разряду песен проституток.

Песню эту мы, с Гуревной, частенько распевали, когда «хозяев дома нет».

Замечательно рассказывала она о жизни своей в Сибири, о «старателях», варнаках и прочих, — действительно замечательно.

Яков Данько был человек не очень интересный, но — хороший. К сожалению, он действительно и упрямо играл на скрипке и всегда — труднейшие упражнения на самых высоких позициях... Не помню, чтоб я слышал, как он играл классическую музыку. Как будто Наталке было года два, когда я с ней возился. Кажется это ее видел я в 30-м году на Фарфоровом заводе.

Да, вот еще о Данько, Якове: была у него песенка с Минаевскими рифмами:

Посидели мы в тюрьме
Александра третьего!
Не пора-ли самого
В тюрьму запереть его?

Бывало — приводит в порядок свой мучительный инструмент и — мурлычет о Дм. Толстом, Победоносцеве, Каткове».

До сих пор было известно лишь, что Горький в Тифлисе жил у А. М. Калюжного и с рабочим Ф. Афанасьевым. Воспоминания О. И. Данько устанавливают новые бытовые факты из жизни его в Тифлисе. Сам А. М. добавляет, что первое время жил у М. Я. Началова.

По воспоминаниям О. И. Данько Горький поселился у них вскоре после прихода в Тифлис и с той же квартиры уехал из Тифлиса совсем, прожив в снятой у них комнате около 8 месяцев. Здесь автору воспоминаний изменяет память. Картина жизни Горького в Тифлисе была гораздо более пестрая. Начиная с февраля (как будет видно из дальнейших примечаний) он уже, несомненно, жил с Афанасьевым, а летом жил в квартире Калюжного, как не раз указывал на это А. М. Калюжный.

И если нет основания сомневаться в твердом указании А. М., что он к Данько переехал от Началова, то неясным становится все остальное, в частности тот факт, что под приведенным мною двустишием о жизни на Вэре стоит дата: август 1892 г.

Однако, если предположить, что Горький жил у Данько не один, а д в а р а з а, в начале своей жизни в Тифлисе и в конце ее, то целый ряд неясностей отпадает. Тогда понятным становится указание А. М., что после Данько он жил с Афанасьевым, только эта перемена произошла не в июне, как ему вспоминалось, а в один из зимних месяцев.

Понятным становится и его замечание, что дочь Данько была старше указанного в воспоминаниях возраста, потому что прогулки с нею относятся, несо-

менно, ко второму периоду его жизни у Данько, к концу лета. Объясняется тогда и представление О. И. Данько о длительности жизни у них Горького, а также воспоминание о том, что Горький переехал к ним от Калюжного: до второго своего поселения у них он действительно жил у Калюжного; объясняется и дата под двустишием.

Таким образом, можно установить следующую последовательность, принимая во внимание условность обозначаемого времени: в ноябре — декабре 1891 года Горький живет у Началова, в декабре 1891 года — январе 1892 года — у Данько, с января или февраля по май-июнь — с Ф. Афанасьевым, июнь-июль — у Калюжного, август-сентябрь — снова у Данько, и от них же уезжает из Тифлиса совсем.

Среди этих периодов «оседлости» — поездки и странствия: в промежутке жизни у Данько и Афанасьева — Баку, между Калюжным и Данько — Черноморье и пр.

Были и другие хождения по городам и дорогам Закавказья. «В молодости я был непоседлив», — писал А. М. Эту «непоседливость» он сохранил во все время жизни в Тифлисе.

58. ЧИТАДЗЕ

(К стр. 335)

Почти все лица, знавшие Горького в пору его тифлисской жизни, упоминают о его необыкновенной физической силе и при этом вспоминают историю его дежурств у больного Читадзе.

«Среди наших знакомых, — вспоминает О. И. Данько, — был грузин Читадзе, молодой, очень талантливый и симпатичный человек. Он страстно хотел получить образование. Ему не удалось попасть в столичный университет. Когда в Томске открылся новый университет, Читадзе отправился в Томск. Бо́льшую часть пути он прошел пешком, нуждаясь во всем и голодая. В Томске его тоже ждала неудача. Читадзе вернулся в Тифлис с надорванным здоровьем и потрясенной психикой. Вскоре он заболел душевно. У него были припадки буйного помешательства. Товарищи дежурили у него по очереди. Ал. Макс. тоже очень часто дежурил, применяя иногда даже свою огромную силу, т. к. приходилось удерживать и даже связывать несчастного больного».

О дежурствах Горького около Читадзе рассказывает в тифлисской газете «Новое Обозрение» и некто Ник. Кара-Мурза.

«Насколько мне помнится, А. М. Пешков знал Ч-дзе не так давно, а, между тем, он принял в нем самое живое участие: являлся на дежурство аккуратно и раньше всех, просиживал ночи у постели больного, старался как-нибудь облегчить страдания его; всегда, когда приходилось в минуты буйства привязывать больного к постели, А. М. уступал мольбам последнего и отвязывал его, хотя потом ему же приходилось с трудом укладывать больного, и это делалось неоднократно в течение ночи.

Мне приходилось часто дежурить с А. М. Пешковым, и я имел возможность лично убедиться в его сердечном и добром отношении... Помню живо последнюю ночь нашего дежурства, когда нам пришлось до утра пережить ужасные муки.

Это было 31 декабря 1892 года.[1]

Ночь эта была одной из самых ужасных: больной был особенно раздражителен, буйствовал, все время кричал, убегал и когда удерживали — дрался.

Нас было двое, и нам с трудом удавалось укладывать больного на кровать и привязывать; но душу раздирающие стоны и мольбы его, обращенные к нам, заставляли нас развязывать ему руки и ноги; тогда больной снова начинал драться и вырываться на двор. Был момент, когда он, быстро подняв деревянную кушетку, сломал ее и с доской в руках кинулся на нас, но сила А. М. удержала его, и больной опять очутился в постели связанным...

В эту ночь А. М. был сильно расстроен и нервно записывал карандашом в свою тетрадь заметку. Он — этот сильный человек — не смог овладеть собой, и я, выходя на балкон вслед за ним, видел на его глазах слезы.

[1] Это было, конечно, 31 декабря 1891 года. — *И. Г.*

Под утро я ставил на балконе самовар. Несмолкаемые крики больного привлекли внимание двух рабочих грузин, случайно проходивших по улице Панасевича; видно было, что они встречали где-то новый год и возвращались уже домой.

Услышав крики, они прибежали во двор и, поднявшись на балкон, спрашивали меня — в чем дело.

Я стал объяснять им, что мог, но они с угрозой начали требовать освобождения больного.

В эту минуту вышел на балкон и А. М. Сначала он хотел было рассердиться, но, увидев этих добродушных людей, был очень тронут их сердечным отношением к страданиям больного. После некоторых безрезультатных переговоров, нам удалось кое-как убедить их, что мы не преступники...

На другой, кажется, день нам удалось, наконец, после долгих мытарств поместить несчастного Ч-дзе в больницу».

По поводу воспоминаний о Читадзе А. М. сообщил:

«Гиго Читадзе сын крестьянина, один из первых пропагандистов марксизма среди тифлисской молодежи и рабочих. Был весьма популярен именно среди рабочих, имел знакомства с революционерами народовольцами, осужденными по процессу 50-ти.

От усиленной работы, занятий и голода сошел с ума — mania grandiosa. В течение трех недель его не принимали в больницу; сначала около него поочередно дежурили товарищи, потом они разбежались утомленные, испуганные припадками его безумия, избитые им. Мне пришлось провести один на один с ним девять дней, — это было очень страшно. Несколько раз он пытался убить меня. Он намазывал грудь себе ваксой, чистил ее щеткой, говорил, что у него горит сердце, и гасил его, прикладывая на грудь тряпку, смоченную в помойном ведре. Однажды чуть не убил квартирную хозяйку, женщину с бородой, другой раз сбросил с лестницы полицейского. Схватил в припадке безумия одного старика рабочего за щеки и содрал с них кожу, — старик глазом не моргнул, а Читадзе кричал мне: «Видишь, как любит меня народ мой?!» Несколько раз мне приходилось связывать его, тогда он, с хитростью безумного, начинал плакать, жаловался, что

ему больно; я подходил развязать его — он плевал мне в лицо и хохотал, если удавалось попасть.

Он был очень силен, чтоб ослабить его, я дал ему лошадиный прием глауберовой соли, что облегчило мое положение.

Наконец его все таки приняли в больницу. Когда он вошел в общий зал и увидел там князя Абашидзе, тоже больного душевно, он ударил его по лицу, крикнув: «Это за моего отца!» Абашидзе убил отца Читадзе, который был его крепостным, когда Гиго было только пять лет.

Через три дня Гиго Читадзе служителя больницы сбросили с лестницы, осколком ребра ему поранило сердце и он умер. Его торжественно хоронили, было много молодежи и рабочих...»

С. Вартаньянц, познакомившийся с Горьким на этих дежурствах у Читадзе, также как и Кара-Мурза, сообщает, что Горький записывал что-то себе в тетрадь. Что же заинтересовало так Горького?

«В минуты просветления, — вспоминает С. Вартаньянц о Читадзе, — этот больной с жаром, с увлечением развивал целую теорию о спасении людей и их обновлении; в эти минуты он совершенно преображался и превращался в вдохновенного пророка; его поэтическое настроение передавалось окружающим; на время мы забывали, что с нами говорит сумасшедший, но вдруг он терял нить — и рассудок его, дотоле ясный, помрачался, а стройные мысли его превращались в нечто бесформенное, хаотическое, без начала и без конца...»

Эта история гибели юноши-идеалиста дала Горькому тему рассказа «Ошибка».

36. В ГОРИ

(К стр. 335)

В одном из газетных очерков Горький рассказал о том, что он видел в Гори во время своих странствий по Закавказью.

«Гори — старинный грузинский городок в долине Куры. Он не велик — с порядочную русскую деревеньку, среди него возвышается высокий холм, на холме кре-

пость, по скатам холма и у его подножья разбросаны маленькие сакли и домишки, почти все они из известняка. На всем городе лежит серый колорит какой-то обособленности и дикой оригинальности. Знойное небо над городом, буйные и мутные волны Куры около него, неподалеку горы, в них какие-то правильно расположенные дыры — это пещерный город, и еще дальше, на горизонте, вечно неподвижные белые облака — это горы главного хребта, осыпанные серебряным, никогда не тающим снегом. Пейзаж был непривычен и чужд глазу великоросса; и тон суров; зрение, привыкшее к широким горизонтам, сдавлено грядами гор, запиравших отовсюду котловину, разрезанную рекой и линией железной дороги, казавшейся неуместной среди этой простой и дикой красоты, бедной красками, богатой тяжелыми массами разнообразно исковерканной земли, вздымавшей свои хребты в синее знойное небо.

Центром пейзажа являлась толпа, собравшаяся вокруг виселицы. Выбрали праздник для того, чтобы повесить людей, и толпа горцев была разодета по праздничному ярко, настроена шумно и жизнерадостно. Окружая два столба с перекладиной, утвержденные на грубо сколоченном помосте, люди, пестро одетые, стройные и смуглые, оживленно сыпали в воздух гортанные слова, адресуя их к двум высоким ребятам, стоявшим на помосте. Один из них, рыжеватый имеретин, в рваной куртке, обнажавшей жилистую шею и крепкую грудь, облокотясь на перила и улыбаясь, беседовал с людьми, пришедшими посмотреть, как он умрет; другой весь черный, тоже рваный, похожий на большую головню, стоял под виселицей и покручивал одной рукой усы, другой оправлял петлю, уже накинутую ему на шею. Сзади его стоял коренастый палач, человек с лицом монгола, страшно обезображенный сифилисом, и узенькими глазами смотрел вниз в лица публики, показывавшей ему кулаки, посылавшей краткие ругательства. Загорелые русские солдатики, держа ружья на плече, стоя со скучными лицами, точно деревянные, или вкопанные в землю, смотрели пред собой ничего не выражавшими глазами. У самого помоста стояли власти в мундирах, с сухими и строгими физиономиями, и среди яркой, говорливой толпы их официальные фигуры были чем-то беспочвенным и чуждым всему, что окружало их. Один из этих людей что-то монотонно читал, держа пред своим лицом лист бумаги, и иногда смахивал этим листом капельки пота с лба, набегавшие ему на брови. Вот он кончил... палач полез наверх по одному из бревен, уселся на перекладине верхом и стал что-то мастерить там, громко и зло хохоча и подмигивая зрителям.

Приговоренный к смерти поднял голову вверх и посмотрел на него. Но на этом смуглом, почти черном лице отражалась скорее усталость и скука, чем страх перед будущим. Священник с красным лицом, толстый и большой, взошел на помост, и доски скрипели под тяжестью его тела. Палач спустился вниз, ударив ногами о помост, что-то сказал преступнику, и вокруг помоста говор стал тише.

Черному человеку палач связал за спиною руки и посмотрел себе под ноги. Этот человек чмокнул поднесенное ему к устам изображение Распятого за грехи людей, изображение беспристрастного Судьи всех судей, чмокнул и вспрыгнул на табурет. Палач присел зачем-то, тогда преступник сам спрыгнул с табурета и, недостав ногами до помоста, — повис в воздухе. Одно мгновение он висел неподвижно, потом задвигал связанными руками, весь вздрогнул и вдруг, дрыгая ногами, стал извиваться в воздухе. Лицо у него стало красное и странно надулось, точно вспухло все сразу.

Толпа глухо гудела. Многие сняли шапки... Кто-то пронзительно и заунывно запел.

— Хорули! — вдруг крикнул толпе другой осужденный, указывая на товарища, все еще бившегося в воздухе. Раздался хохот: хорули — гурийский танец.

Человек, которому через минуту предстояло тоже танцовать в воздухе этот хорули, сплюнул в сторону и улыбнулся, вставая под перекладину и осторожно поглядывая на ноги товарища, все еще судорожно вздрагивающие в воздухе. Очевидно, он боялся, что повешенный товарищ заденет его своими босыми ногами

— А ты, Васо, давай перхули! — крикнул кто-то из толпы по-русски. Васо кивнул головой. Перхули — тоже танец. Васо вязали руки, и он что-то серьезно говорил палачу, указывая кивками головы куда-то на толпу. Она опять замолкла. Вот Васо кивнул головой направо... налево...

— Прощай! — крикнули два-три голоса по-грузински. Снова головы обнажились.

И Васо начал танцовать перхули... Когда же он неподвижно повис рядом с товарищем, причем головы обоих их свесились на грудь, и шеи странно выгнулись — толпа стала расходиться».[1]

Этой потрясающей по своей силе сцене мне удалось найти документальное соответствие. Горький не вспомнил или изменил только имена (Васо и Самет). На самом деле «рыжеватого» звали Сандро Хубулури, а «черного» Тате Джиошвили. Они обвинялись в разбоях и были казнены в Гори 13 февраля 1892 года.

37. ПОИСКИ ЧЕЛОВЕКА

(К стр. 336)

Алексей Максимович не раз говорил, что лучшим своим рассказом считает «Рождение человека». Ему дорога была, видимо, предельная правдивость его, дорого было воспоминание о том, как он содействовал рождению человека, дорог был тот пафос радости, с которым был встречен им новый, крепкий, сильный человек «неизвестной судьбы». А заинтересованность в этой судьбе его не оставляла.

«...в дополнение к письму из Ейска, — писал он мне, — посылаю еще письмо какого-то Бурбы, который тоже рассказывает о «Рождении человека». Но этот Бурба, очевидно, был на Сухумском шоссе, и рассказ о моем «акушерстве» слышал там, тогда как Ейская дама явно сочиняет. Однако я написал ей, прошу сообщить адрес женщины, у которой принят был мною ребенок».

[1] «Нижегородский Листок», 1896 г., № 327. Печатается с исправлениями А. М.

Письмо Бурбы тоже не давало никаких надежных указаний, как и письмо «Ейской дамы». Но Алексей Максимович и после этого надеялся разыскать того человека, которому при рождении его он ото всей души дал радостное напутствие: «Шуми, орловский! Кричи во весь дух...»

38. ПИСЬМО ГУРИЮ ПЛЕТНЕВУ

(К стр. 337)

Эта интереснейшая выписка из письма Горького дошла до нас случайно: Гурий Плетнев был у казанских жандармов в почтовой блокаде. Письмо было подписано одною буквой «Л», имело дату 14 февраля 1892 года и шло из Тифлиса в адрес типографии газеты «Казанские Вести».

Когда казанские жандармы направили заинтересовавшее их место письма в Петербург, директор департамента полиции П. Дурново (впоследствии «знаменитый» министр-погромщик в кабинете С. Витте) вынес резолюцию: «Прошу выяснить автора какой институт в Тифлисе».

В силу этого тифлисским жандармам был 5 марта 1892 года послан приказ:

«Департаментом полиции получены сведения, что в Тифлисе в депо железной дороги служит какое-то интеллигентное лицо, состоявшее в сношениях с привлекавшимся к делам политического характера бывшим студентом Казанского университета Гурием Александровым Плетневым... Означенное лицо, познакомившись с воспитанниками местного учительского института и семинарии, читает им какие-то издания и сближается с рабочими железнодорожного депо, с которыми также занимается чтением и рассуждениями. В особенности же лицо это находится в близких отношениях с рабочим Богатыровичем. После какого-то обыска, произведенного минувшего 13 февраля, этому лицу было уменьшено жалование с 43 руб. на 35 руб. в месяц».

Департамент полиции требовал «выяснить означенное лицо и сообщить об оном подробные сведения».

Тифлисские жандармы не проявили большой расторопности, но все же через два месяца, 11 мая 1892 года, они могли рапортовать:

«По собранным негласным путем сведениям оказалось, что 13 декабря 1891 года определился на должность отметчика железнодорожных мастерских нижегородский цеховой, Алексей Максимович Пешков, с содержанием 35 руб., тогда как ранее служивший на этой должности получал еще квартирных 7 руб. Пешков прибыл в Тифлис 1 ноября 1891 года, откуда — точно выяснить не представилось возможности, но тем не менее известно, что в 1888 году он служил на Грязе-Царицынской железной дороге. Ныне проживает в Тифлисе, по Ново-Арсенальной улице, дом № 7, в квартире гражданина Федора Афанасьева, ведет довольно обширное знакомство с молодежью, но кто собственно эта молодежь — пока еще не установлено.

Пешков имеет от роду 24 года, роста очень высокого, человек развитой, имеет прекрасный почерк, носит очки и длинные волосы.

В числе рабочих железнодорожных мастерских имеется слесарь Карл Богатырович, определившийся на должность 28 сентября 1890 года...

Сопоставляя полученные сведения, нужно притти к заключению, что Пешков именно и есть та личность, которую и требуется выяснить.

Вследствие сего мною учреждено негласное наблюдение за квартирой Пешкова на предмет установления лиц, его посещающих, и выяснения образа его жизни». [1]

Какие результаты имело это «наблюдение», осталось неизвестным. Оно вообще запоздало. Содружество на Ново-Арсенальной улице к этому времени распадалось, «чтения и рассуждения» кончились, и Горький легко мог, не зная того, в буквальном смысле «выйти» из наблюдения, отправившись в очередное пешее путешествие.

[1] «Революционный путь Горького», Центроархив, стр. 28, 29.

Из письма Горького следует, что в то время, в феврале 1892 года, он жил уже с Афанасьевым, рассказ его о своих занятиях с несомненностью это подтверждает.

Обращает на себя внимание и такой факт: письмо помечено 14-м февраля, а накануне, 13 февраля, Горький был в Гори, как это устанавливается примечанием 36-м.

В письме же Горький пишет: «Вчера был обыск».

Приходится сделать тот вывод, что Горького во время обыска [1] в Тифлисе не было. Не это ли обстоятельство затруднило жандармам поиски таинственного корреспондента?

39. ДЕЛО ФЕДОРА АФАНАСЬЕВА

(К стр. 339)

Дело Ф. Афанасьева возникло в июне 1897 года, когда обнаружена была пришедшая на его адрес нелегальная литература. Тогда же были установлены его связи с Александром Богоразом и некоей Анной К.

21 июня 1897 года тифлисскими жандармами была послана в департамент полиции «Литера А»,—на языке жандармских канцелярий так называлось извещение департамента о каждом вновь возникавшем деле. Из этой бумаги следовало, что Федор Афанасьев и другие лица привлекались к дознанию по обвинению в преступлении, предусмотренном 250-й статьей Уложения о наказаниях. Статья 250-я предусматривала случай, когда «виновные не обнаружили умысел действовать насильственно, но составили сообщество, направленное к достижению, хотя бы и в более или менее отдаленном будущем, целей, указанных в статье 249», а именно «бунт против власти верховной, то есть восстание скопом и заговор против государя и государства». 249-я статья карала смертной казнью, 250-я полагала в 1-й ча-

[1] Может быть, это был не формальный обыск, а обнаруженный квартирантами шпионский просмотр бумаг во время их отсутствия. Обращает на себя внимание тот факт, что донесение тифлисских жандармов обходит упоминание департамента полиции об обыске.

сти каторгу от 10 до 15 лет, во второй — каторгу от 4 до 6 лет, ссылку в Сибирь, арестантские роты или крепость до 4 лет.

Догадка о прикосновенности некоего Пешкова к этому делу возникла у жандармов с самого начала. При обыске у Афанасьева нашли фотографическую карточку «с изображением мужчины в русском костюме; на оборотной стороне карточки — надпись: «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче». И хотя Афанасьев отозвался незнанием фамилии мужчины в русском костюме, изображенного на карточке, но, по-видимому, дознаться о ней жандармам не составило труда, и в дополнительном донесении департамента полиции сообщено было о «некоем Пешкове», с приобщением пока еще глухих свидетельских показаний: «это в высшей степени подозрительный человек — начитанный, хорошо владеющий пером, он исходил почти всю Россию (все большею частью пешком); некоторое время с какими-то целями проживал на Волге среди бурлаков; в Тифлисе же пробыл около года без определенных занятий и куда-то отсюда выехал».

По неясным причинам дознание о «преступном сообществе» велось довольно медленно; и только 15 апреля 1898 года состоялось постановление ведшего это дело ротмистра Конисского о привлечении к дознанию мещанина Пешкова. К этому времени собраны были о нем такие сведения по данным о его тифлисской жизни: «Мещанин г. Нижнего Новгорода Алексей Максимович Пешков, цеховой, холост, православный, 23 лет от роду, служил счетоводом в главных мастерских Закавказской железной дороги, с 10 декабря 1891 года по 21 сентября 1892 года, когда уволился по собственному желанию и выбыл из Тифлиса, по имеющимся сведениям, в Нижний Новгород, якобы для поступления на службу в какое-то пароходное общество».

26 апреля начальник Тифлисского губернского жандармского управления полковник Дебиль послал начальнику Нижегородского губернского жандармского управления требование «обыскать, арестовать и пре-

проводить» упомянутого в постановлении Пешкова. Последний был в то время в Сызрани. Требование направлено было туда «по принадлежности», разошлось с ним в дороге, и только 7 мая начальник Нижегородского жандармского управления полковник Евецкий мог телеграфировать в Тифлис: «Пешков обыскан арестован сего дня отправляю железной дорогой Тифлис».

10 мая начальник Терского областного жандармского управления во Владикавказе писал полковнику Дебилю:

«Препровождая при сем под конвоем унтер-офицеров дополнительного штата вверенного мне управления Алексея Стренева и Захара Почвирного арестованного Алексея Максимова Пешкова, следуемого в распоряжение вашего высокоблагородия, при конверте от Начальника Нижегородского губернского жандармского управления за № 615 и запечатанный тюк с вещественными доказательствами; в принятии арестованного, пакета, тюка, золотого кольца и собственных денег Алексея Пешкова 35 руб. 76 коп. покорнейше прошу выдать конвоирующим унтер-офицерам установленную квитанцию».

11 мая Горький доставлен был в Тифлис и заключен в тифлисский Метехский тюремный замок «в отдельном помещении».

Неизвестно, как долго продлилось бы время заключения Горького в Метехском замке и процедура его допросов (дело велось уже в течение года!), если бы бесцеремонность и простодушная наглость тифлисских жандармов не обратила на себя внимания даже департамента полиции. И то сказать, что положение Горького (в Нижнем, да и в столицах он был уже к тому времени широко известен — между прочим за несколько дней до его ареста вышло первое собрание его рассказов в двух книгах) диктовало, казалось, более осмотрительное к нему отношение. Друзьям Горького в Петербурге удалось привести в некоторое движение в связи с арестом Горького органы министерства юстиции, вмешательство и контроль которого, по-видимому, чрезвычайно раздосадовали депар-

тамент полиции. Как бы то ни было, но 26 мая в Тифлисе была получена бумага с несколько раздраженным запросом:

«...Департамент просит Вас уведомить, чем было обосновано требование Ваше об аресте Пешкова и доставление его в Тифлис и почему Вы признали неудобным допрос его по обстоятельствам дела в Нижнем Новгороде».

Для невежественных тифлисских жандармов это было, очевидно, громом с ясного неба. «Некий Пешков» был для них только «в высшей степени подозрительным человеком»: будучи начитан и хорошо владея пером, он с какими-то целями общался с рабочими! Сотни и тысячи «подозрительных» российских граждан арестовывались и препровождались по этапу — и ничего! — а тут такое осложнение!

Неприятнее же всего было им то, что допросы Пешкова ничего не дали.

Через три дня Горький был освобожден из тюрьмы, но отдан под особый надзор полиции, — жандармы безошибочным чутьем утверждались в том, что имеют дело с человеком сугубо враждебным.

28 мая перед освобождением был составлен такой любопытный протокол:

1898 г. Мая «28» дня в г. Тифлисе.

Я, отдельного корпуса жандармов ротмистр Конисский, на основании циркуляра департамента полиции от 26 марта 1886 г. за № 807, при участии главного доктора Тифлисского Метехского тюремного замка С. А. Войка составил настоящий протокол примет привлеченного при Тифлисском губернском жандармском управлении — Алексея Максимовича П е ш к о в а.

При чем оказалось:

1) *Размер роста.*	2 арш. 8 $^1/_8$ вершка.
2) *Лета.*	30.
3) *Телосложение.*	Среднее.
а) нет ли каких либо особенностей в частях организма.	Левая половина грудной клетки представляет вблизи грудного реберного сочленения некоторую выпуклость.
б) нет ли особенной манеры держать себя.	Сутуловат.
4) *Впечатление, производимое наружностью.*	Вид скромный (чахоточный).

5) *Цвет волос на голове, бровях, бороде, бакенбардах и ресницах.*	Волоса темнорусые, на усах и бороде почти рыжие.
Вид волос.	Гладкие.
Прическа волос.	Спереди назад.
Бреет ли волосы.	Не бреет.
6) *Цвет и величина глаз, нет ли особенности в наружном виде глаз, нет ли особенностей смотреть, дальнозорок или близорук и не носит ли очков.*	Глаза голубые, дальнозорок, очки носит (консервы голубоватые), глаза средней величины, особенностей в наружном виде нет.
7) *Склад головы и заметные особенности.*	Склад головы нормальный; слегка продолговат — спереди назад, видимых особенностей нет.
8) *Очертание лба, и нет ли особых примет.*	Лоб средней высоты, немного сужен в верхней части; особых примет нет.
9) *Очертание и размер носа.*	Нос правильный, прямой, длина носа сант.
10) *Очертание лица, цвет кожи, и нет ли каких либо наружных особенностей личной кожи.*	Лицо овальное с несколько выдающимися скулами; цвет кожи бледно... (лист испорчен).
11) *Полость рта, нет ли недостатка зубов и каких именно.*	В нижней челюсти с правой стороны недостает первого коренного; в верхней челюсти недостает обоих клыков с левой стороны, второй резец испорчен и кроме того тоже с левой стороны недостает двух коренных.
12) *Очертание рта, подбородка и их наружные особенности, нет ли особенных привычек при разговоре (кривлять рот, улыбаться).*	Очертание рта, подбородка правильны, особых привычек при разговоре — нет.
13) *Характер голоса и не заикается ли.*	Голос глухой, не заикается.
14) *Очертание ушей, размер их и наружные особенности.*	Уши правильные, среднего размера, наружных особенностей нет.
15) *Походка и ее особенности.*	Походка ровная.

Так, в целях «пресечения преступлений» в будущем, описывали и измеряли человека, которому, как оказалось, в настоящем ничего толком инкриминировать было нельзя.

В посланной департаменту полиции «Литере В» (этой «литерой» сообщалось об «изменении меры пресечения») глухо значилось:

«Причины изменения меры: обыском ничего предосудительного не обнаружено; показания же, данные Пешковым по дознанию, определили степень его прикосновенности к делу».

Но в отчете департаменту от 3 июня полковнику Дебиль пришлось дать более подробные объяснения, причем необходимость ареста мотивируется почти комически: непоседливостью Горького.

«В объяснение мотивов, вызвавших требование об аресте мещанина Алексея Максимовича Пешкова, при сем имею честь представить д-ту полиции копию с постановления от 15 апреля с/г за № 72 производящего дознание по делу о мещанине Федоре Афанасьеве, студенте Александре Богораз, мещанине Георгие Франчески, крестьянине Иване Лузине, мещанине Михаиле Каландадзе и др. обвин. в преступлении предусм. 2 ч. 250 ст. ул. о нак. (социал-демократическая пропаганда).

Принятая означенным постановлением мера пресечения способов уклонения от следствия и суда — арест — была вызвана опасением, чтобы означенный Пешков после произведенного у него обыска не выбыл куда-нибудь, так как по дознанию являлась не безызвестною его любовь к передвижениям, подтвержденная впоследствии и его собственным показанием по дознанию. Так, до своего прибытия в 1891 году в Тифлис Пешков, пройдя пешком из Нижнего Новгорода в Бессарабию, хотел оттуда проникнуть в Румынию, чтобы затем пройти во Францию, но, не быв пропущенным через границу, он направился в Крым и Закавказье. Пробыв затем в Тифлисе почти до конца 1892 года, он выбыл отсюда и последовательно проживал в Нижнем Новгороде, Самаре, Ялте, Алупке, в Полтавской и Тверской губерниях».

«Доставление же Пешкова в Тифлис, — продолжает оправдываться Дебиль, — для допросов на месте производства дознанием было произведено по личному моему распоряжению, так как мною имелось в виду,

что таковые допросы удобнее всего могли бы быть произведены производящим дознание... Действительно, произведенные ныне Пешкову допросы позволили до минимума сократить время содержания его под стражей (выпущенный под надзор полиции он ныне отправился по собственному желанию в Самару), личное же присутствие Пешкова при разборе всего отобранного у него при обыске (свыше 500 писем, заметок, записок и т. п.)[1] позволило производящему дознание легко и скоро сделать надлежащую оценку всем этим документам, а это в свою очередь, в связи с подробными объяснениями Пешкова по дознанию и знакомством с его личностью, помогло безошибочно установить значение Пешкова для дознания, что в настоящее время принадлежность его к социал-демократической пропаганде является сомнительною, а вся вина, повидимому, заключается в попытке образовать в Тифлисе в 1892 году кружок саморазвития, причем наиболее поддавшимся и вредным элементом этого кружка явился привлеченный к дознанию Федор Афанасьев».

Какая замечательная аргументация! Арестовали человека, провезли этапом через всю страну, и недаром: это помогло безошибочно установить... сомнительность его вины. Все это не могло смягчить департаментского Зевса, раздосадованного неловкостью своих агентов и вмешательством чужого ведомства.

27 июня Дебиль получил бумагу такого содержания:

«Рассмотрев представленные Вашим Высокоблагородием объяснения о причинах ареста и доставления из Нижнего Новгорода в Тифлис мещанина Алексея Максимовича Пешкова, департамент полиции находит, что указания допрошенных по делу Афанасьева и др. свидетелей на Пешкова, как на лицо, состоявшее в 1892 г. в сношениях с Афанасьевым и имевшее на последнего большое влияние, не давали еще оснований к обвинению Пешкова в каком либо преступлении, а вызывали необходимость, в виду возникшего сомне-

[1] «Запечатанный тюк с вещественными доказательствами» *! И. Г.*

ния в благонадежности Пешкова, в предварительном производстве по сему поводу расследования... Находя, в виду изложенного, что сделанные в отношении Пешкова распоряжения были лишены достаточных оснований, департамент долгом считает обратить на это внимание Вашего Высокоблагородия, прося рекомендовать ротмистру Конисскому действовать в будущем с большей осмотрительностью и вниманием».

Все это, конечно, было до крайности неприятно, и в очередном донесении от 31 июля 1898 года полковник Дебиль возвращается к Пешкову, мобилизуя весь обвинительный материал, какой только удалось собрать против него. Донесение это чрезвычайно любопытно и сообщениями о подробностях допроса Горького, его решительным выгораживанием Афанасьева, а также явно насмешливыми разъяснениями в ответ на обращенные к нему обвинения.

Дебиль сообщал в департамент, что один из свидетелей, проживавших в Тифлисе совместно с Афанасьевым, Пешковым и другими, «откровенно заявил, что тогда же был поражен его явною политической неблагонадежностью, равно как и Афанасьева, выражавшеюся в особенно резких, крайних его суждениях, особенно по рабочему вопросу, высказывавшихся Пешковым Афанасьеву. Так что полагаю, настоящее озлобленное противоправительственное направление Афанасьева есть прямое последствие влияния на него Пешкова, кичившегося своими знаниями без получения правильного образования».

Принимая же во внимание, что Афанасьев и Пешков проживали в Тифлисе «на общей квартире со многими лицами», что «квартиру эту посещала молодежь обоего пола», что Пешков «много поколесил по России и большую часть пути сделал пешком, жил между бурлаками», что «приезд Пешкова в Тифлис, кратковременное его пребывание в нем и отъезд его несмотря на вполне обеспечивающую его материально должность являются загадочными», что «обвиняемый Афанасьев отказался назвать фамилию изображенного на отобранной у него фотографической карточке Пешкова» и находя, что «вышеизложенное доказывает

участие Пешкова в социал-демократической пропаганде», он, полковник Дебиль — и санкционировал арест Пешкова.

Несмотря на все это, допросы Пешкова — скрывать не приходится! — ничего не дали.

«13 мая состоялся допрос Алексея Пешкова в качестве обвиняемого в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. Допросом этим ничего имеющего значение для дознания не выяснено. Знакомство свое с Афанасьевым и проживание с ним на одной квартире в Тифлисе допрашиваемый подтвердил, а постоянные передвижения свои с места на место объяснил тяжелым нравственным состоянием вследствие неудачной любви».

«28 мая был допрошен дополнительно обвиняемый Пешков. Показанием своим Пешков подтвердил факт собраний учащейся молодежи и учительниц на общей их с Афанасьевым квартире, придавая им характер простых вечеринок.

Относительно Афанасьева он показал, что не заметил его занятий рабочим вопросом и агитации его в этом направлении».

«28 мая состоялся осмотр бумаг, отобранных по обыску в Нижнем Новгороде у Алексея Пешкова, коим найдено подлежащим приобщению к дознанию кроме личных документов Пешкова, гектографированная статья под заглавием «Исповедь Александра Апполова», в предисловии к коей объяснено, что в 1889 г. священник Александр Апполов просил Симферопольского епископа принять эту исповедь, в которой отвергает многие обряды православной церкви.

29 мая допрошенный по поводу отобранной у него при обыске брошюры «Исповедь Александра Апполова» Пешков показал, что брошюру эту он купил в Москве под Сухаревой башней у какого-то торговца».

. . . . . .

Дело «о мещанине Федоре Афанасьеве» после сего продолжалось еще год. Создать процесс все же не удалось, и дознание «по высочайшему повелению, последовавшему 23 июня 1899 года» разрешено административным порядком.

Федор Афанасьев, Анна Киселевская, Георгий Франчески и Иван Лузин[1] были высланы на 3 года в Вятскую губернию, Александр Богораз на 2 года, Дина Метерская подчинена гласному надзору полиции в избранном ею месте жительства в черте еврейской оседлости, но с воспрещением проживать в фабричных местностях, а дознание в отношении Алексея Пешкова и Михаила Каландадзе — дальнейшим производством прекращено «за недостаточностью улик».

Относительно этого дела А. М. писал мне:

«Федор Ермолаевич Афанасьев — один из тех рабочих, которые в начале 90-х годов, ознакомясь с учением Маркса по брошюре А. Н. Баха «Царь-Голод», долгое время могли жить, не испытывая охоты узнать еще что-либо. Затем у него наступил момент молниеносного сомнения в излюбленной правде. Он пережил этот момент очень тяжко. Но в 905—6 годах возвратился к старой вере и, кажется, погиб в борьбе за ее торжество».

«К жандармским документам я ничего не могу прибавить; думаю, что ротмистр М. М. Конисский знал меня в ту пору лучше, чем я сам себя. Очень удивлен и даже тронут тем, что департ. полиции сделал Конисскому выговор по поводу моего ареста. Вы подумайте — какой гуманизм, а? В 905 году Конисский был начальником Петербург. жандармск. управл. и, допрашивая меня по делу 9-го января, сказал, вздохнув: «Однажды я из-за вас уже потерпел, да вот и теперь то же, кажется, будет: арестом вашим Европа обеспокоена». Он был человек добродушный, неумный и невежественный. На третьем допросе он тихонько сообщил мне: «Знаете, за вас очень хлопочет *ваш друг* Дон-Педро, король Португейский». Вообще Конисский относился ко мне с какой-то почти отеческой заботливостью, но смотрел на меня вытаращив глаза, как на сумасшедшего. Выпустив из Метехского замка, предложил мне покинуть Тифлис в 24 часа, а когда я заявил: хочу в баню! дал мне жандарма, с которым я и мылся. А на допросах увещевал: «Не говорите же так дерзко, ведь я должен записать все это, чудак вы». Из документов, Вами присланных, видно, что не записал».[1]

[1] Ивана Лузина и Г. Франчески упоминает Л. Берия в числе русских социал-демократов, высланных царским правительством из центральных районов России и заносивших в Закавказье в первой половине 90-х годов «первые семена марксизма». (Л. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», 1937 г., стр. 6).

Еще в 1889 году после ареста в Нижнем по делу Сомова-Федосеева, над Горьким был установлен гласный надзор полиции, замененный через месяц негласным надзором, более «деликатной» формой надзора, когда регистрация каждого шага полицией заменялась слежкой шпиков. В 1891 году Горький «вышел» из этого надзора самым естественным образом, — странствующих шпиков полиция не имела в своем штате. На несколько лет следы Горького теряются, и даже в Тифлисе пришлось заново устанавливать его личность для «учреждения» над ним «негласного наблюдения». Но с возвращением Горького в Нижний приказ 1889 года снова возымел свою силу. Во исполнение его шпики доносили об образе его жизни, о том, кого он посещает, и т. д. При его переезде в Самару нижегородские шпионы передают его московским, московские — самарским, самарские — опять нижегородским, затем работают таврические, полтавские, тверские, и у родных пенатов — снова нижегородские, — так составлялся длинный список «летописи жизни и деятельности» задолго до того, как в литературе заинтересовались биографией писателя.

А теперь, когда по тифлисскому дознанию он оказался непричастным делу о нелегальной литературе, найденной при обыске у Афанасьева, а в запечатанном тюке с его бумагами не обнаружено ничего «преступ-

[1] Материалы дела Ф. Афанасьева были сообщены мне Музеем революции СССР Грузии в 1925 году. Тогда же я послал копии их Алексею Максимовичу и использовал материалы в очерке «Горький в Тифлисе» («Мол. Гвардия», 1927 г., № 10). В 1928 г. материалы были изданы брошюрой в Тифлисе («Дело о М. Горьком», Сахелгами, 1928 г.) в более полном виде, но с анекдотическими редакционными пояснениями: А. Богораз отожествлен с писателем Тан-Богораз, Ф. Афанасьев составил одно лицо с Ф. А. Афанасьевым, членом Брусневского кружка, и т. п. В 1933 году новые документы этого дела напечатаны по материалам Центроархива в книге «Революционный путь Горького».

ного» и даже «предосудительного», он тем не менее был отдан под «особый надзор» полиции.

Это значило, что теперь Горький мог переезжать с места на место только по особому разрешению соответствующих жандармских управлений, следовать по утвержденному маршруту «без права останавливаться где бы то ни было, за исключением случаев болезни или каких-либо непреодолимых препятствий» и с обязательством сообщать об остановках и прибытии местному полицейскому начальству.

Этот надзор был снят только через год, но через два года возникло новое, неизмеримо более громкое дело о Горьком. Если субординация позволяла бы, то теперь тифлисские жандармы могли бы сделать выговор департаменту полиции за то, что он не доверился их более чем верному чутью: «в высшей степени подозрительный» цеховой стал теперь крупнейшей фигурой надвигающейся революции.

40. «КУРИОЗА РАДИ»

(К стр. 343)

Это было в 1933 году. Алексею Максимовичу сообщили, что нашлась тетрадь с его стихами. Он очень заинтересовался и просил ее доставить ему. А когда ее доставили ему, он полистал ее и... сжег.

В своих воспоминаниях В. А. Десницкий рассказывает по поводу этого эпизода:

«Не любил он хранить и черновые рукописи своих художественных произведений. При многочисленных переездах, переменах квартир любил устраивать чистку, безжалостно предавая огню свои рукописи.

Я упрекал его в «варварстве», усовещевал, говорил, что он не имеет права так относиться к историко-литературным документам громадной культурной ценности.

— Вспомни, — убеждал я его, — как прекрасно документирована история творчества крупнейших наших художников прошлого — Пушкина, Тургенева, Л. Толстого... А вот начальный период социалистической литературы, творческая история лучших произведений

ее основоположника останутся плохо освещенными, с большими темными пятнами... То, что ты написал, принадлежит уже не тебе. А ты, как огнепоклонник, предаешь огню свои рукописи, расточаешь народное достояние. Зачем сжег стихи?..

Алексей Максимович терпеливо слушал поучение.

— Не стоит хранить то, что не нужно никому... Не хочу я, чтобы потом писали обо мне всякую чепуху. Обязательно найдется ученый чудак и напишет исследование о стихах Горького. А стихи, действительно, были неважные; плохие стишки писал Максим Горький...»

Так и пропала тетрадь. Но не вся. Просматривая ее, он остановился над уже надорванным листом, словно ему стало жаль этой памяти своего далекого прошлого.

Я получил этот листок от Алексея Максимовича в письме с припиской:

«И еще — куриоза ради — прилагаю неоспоримо подлинные и постыдные стишки Горького».

Это было страницей обыкновенной школьной тетради в синюю линейку. Такие тетради, переплетенные вместе под одной папкой или клеенкой, назывались раньше «брульонами». Несколько таких брульонов, исписанных стихами, носил Горький в котомке во время своих странствий.

Наверху страницы почерком его молодости написано шутливое двустишие:

Живу я на Вэре без веры —
И в горе живу на горе!

И под ним пометка: «Тифлис. Август 92».

Вот каких далеких лет была эта исписанная стихами тетрадка!

Несколькими строками ниже тем же почерком, но другими (лиловыми) чернилами написано:

Живя ощущениями новыми
Исполненный новыми силами,
Сие знаменую — лиловыми
Отныне пишу я чернилами!

И пометка: Сентябрь 1892 г.

Может быть это был экспромт, вызванный простым житейским фактом — покупкой новых чернил, но нет сомнения, что хороший подъем духа, запечатленный в этой шутке, имел свои основания в событиях личной жизни Горького: это были действительно знаменательные для него сентябрьские дни его тифлисской жизни.

Далее опять черными чернилами:

Октябрь т/г.

Мечты оказалися вздорными
А силы — увы! — (очень) хилыми
И снова поэтому черными —
Как раньше — пишу (я) чернилами.

Алексей Максимович, читая теперь это стихотворение, даже предложил новый вариант, вычеркнув два слова (они поставлены в скобках), но в старой приписке под стихотворением: «Это хорошо» — поставил вопрос.

До сих пор видишь его чудесную, бесконечно-милую улыбку, с которой он говорил о своих стихах, как о «неважных», «плохих» и даже «постыдных». О своем необоримом влечении к стихотворству он говорил несколько виновато, как человек, который урывает минуты служебного времени на свое частное дело. Но я уверен, что к стихотворению, которое он переписал из тетради на отдельный листок, он не применил бы упомянутых выше эпитетов. Не потому, что был бы высокого мнения о его художественной ценности (это никак не вязалось бы с великою скромностью Алексея Максимовича), а потому что настроение, вызвавшее его, — это то настроение, которое помогло преодолеть ему огромные препятствия на своем пути. И не свои ли двухгодичные странствия вспоминает он в нем, странствия, которые сопровождались тяжкими лишениями и требовали огромного напряжения воли.

Это выписанное на отдельном листке стихотворение приведено в тексте:

Как странники по большой дороге
Сквозь сердце мое прошли
В печали, сомнениях, тревоге
Тысячи детей земли.
Не многих с грустью милой,
Я в памяти сердца храню
За то, что они дали силу
Сердца моего огню.
А тех, что его топтали
Желая, чтоб он погас
Забыл я — как их звали? —
И так же забуду вас.

Но это оказалось не всё. Вырванный из тифлисской тетради лист был, как сказано выше, уже разорван. Его необходимо было склеить. А на обороте этой страницы, заклеенной новым листом, можно на свет прочесть еще одно стихотворение:

Это дивная рамка была!
В небе белая тучка плыла
Тень ее упадала в ручей
В нем вились точно медные змейки
Ленты тонкие лунных лучей
И акаций листва вкруг скамейки
Сеть душистую нежно сплела —
Это дивная рамка была!
Это острая шутка была!
Он сказал: «О, зачем ты зажгла
Мое сердце огнем этой страсти?
Грезы, силу — ты все погубила!
Помоги! Ведь в твоей это власти!»
И сказала она — «я шутила —
Но тебе не желала я зла
Это острая шутка была!»

Алексей Максимович рассказывал, что в годы своих странствий он носил с собой томики стихотворений Гейне и Беранже. Образы этого стихотворения и едкая горечь иронии говорят об отзвуках поэзии великого немецкого поэта. Но есть в этом стихотворении и личные мотивы.

Оно из числа тех, которыми полна была тифлисская тетрадь и которые Алексей Максимович не пожелал нам оставить даже «куриоза ради». Это отплеск той лирической волны, которая владела им в самый канун его писательского бытия. И мы жалеем о погибшей тетради не любопытства ради, а потому что хотим, чтобы еще полнее, еще ближе и по-человечески роднее стал нам его образ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРЬКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ

Часть первая (1868 — 1887) 3
Часть вторая (1888 — 1889) 125
Часть третья (1889 — 1892) 234

ПРИМЕЧАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1. Предки Горького 371
2. Метрическая запись 373
3. Астраханская арка 374
4. Разорение Каширины х 375
5. Школа 378
6. О родственниках 381
7 Модный магазин обуви 387
8. Еще о родственниках 389
9. Горький и Короленко на одном рейсе 391
10. Грушники 393
11 Горький и Бальзак 395
12. Иконописная мастерская 398
13. Горький в театре 404
14. Погром в Нижнем 413
15. Доримедонт Покровский 421
16. В Казани 423
17. В Марусовке 424
18. Библиотека Деренкова 427
19. История булочника Семенова 428
20. Спор о казанских делах и людях 431
21. 12 декабря 1887 года 434
22. Скитания Ромася 439
23. Еще о Маше Деренковой 445
24. Как Горький стал станционным сторожем 446
25. Письмо сослуживца 450
26. Чтения на Добринке 451